

---

---

Александр ЛЕПЕЩЕНКО

# МАГНУМ, ПРОЩАЙ!

Повесть

*Посвящается моим детям*

Я люблю смотреть, как умирают дети.

*Владимир Маяковский. Несколько слов  
обо мне самом*

В печали родительского сердца о детях, где они находятся и живы ли, читают Евангелие о блудном сыне (Лк. 15, 11–32), о погибшей овце (Лк. 15, 1–7) или о потерянной дидрахме (Лк. 10, 8–9).

*Из наставлений Русской православной  
церкви*

Магнум (от лат. *magnum* — «большое, великое») — тип патрона, имеющий повышенную мощность по сравнению с обычными патронами такого калибра.

*Григорий Блюм. Патроны ручного огнестрельного оружия и их криминалистическое исследование*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАГНУМ

### 1

«Мы победили всех животных, — придавило Венецианова, — но все животные вошли в нас, и в душе у нас живут гады...»

Вес этой чужой, но нечуждой мысли вдруг перестал ощущаться. Венецианов оттолкнул эту мысль — на переднем крае, метрах в двухстах, зачернела фигура. И тут же —

---

Александр Анатольевич Лепещенко родился в 1977 году. Окончил факультет журналистики Волгоградского государственного университета. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, главный редактор литературного журнала «Отчий край». Лауреат премии имени Виктора Канунникова (2008), лауреат Международного литературного форума «Золотой витязь» (2016 и 2018), лауреат Южно-Уральской международной литературной премии (2017), финалист Национальной литературной премии имени В. Г. Распутина (2020), лауреат Государственной премии Волгоградской области (2022), лауреат журнала «Российский колокол» (2022) и др. Автор повести «Монополия», романа «Смерть никто не считает» и других книг прозы. Публикуется в российских и зарубежных журналах, в «Неве» — с 2020 года. Живет в Волгограде.

вызначилась, зачернела, еще. Одна фигура была корпусная, важная, другая — иначе. Могло показаться, что корпусная нарочито демонстрирует ему, Венецианову, что вот она здесь, неподалеку, пред ним. И да — как бы желает быть замеченной... Игорь — тонкий, непрочный — снял автомат с предохранителя и сказал в шикнувшую рацию:

— Наблюдаю движение, прием! — и тотчас же побелел шрам на лбу. А впрочем, на Венецианове спокойствие и губы без улыбки отяжелели.

— Дож, наблюдай! Группа выдвигается...

Шишига — этот немногословный двадцативосьмилетний командир, этот угрюмый мариупольский насельник, — приказав Психу, Ванька-встаньке и Дюле выдвинуться на позицию к Венецианову, беспокойно курил. Курил и ждал. Темно синела весенняя ночь, но Шишиге не чудился в каждом дереве разбойник, мертвец или зверь. Ему — Алексею Шишиге — после «библиотеки» в мариупольском аэропорту, где «вісім років тому азовці читали, як книгу», то есть пытали, его, молодого тогда ополченца, более никогда и ничего малодушно не чудилось. Точно была проведена в голове строгая черта. А вот на покой командир не походил по той причине, что недосыпал. Какой там сон, если нужно брать очередной опорник? Да, брат, чтобы захисник незалежности мог бы сказать о собственном носе: «...и его вам утирает победитель». Коллекция же взятых у врага опорных пунктов была большая и разнообразная. Оставалось присовокупить к этой могильно-роскошной низке еще немного, и вот он — драмтеатр. И вот он — раек.

Но — не давая оковать дремотой — опрокинула тишину рация:

— Шиш, мы на позиции... Как принял?

— Я принял... — ротный тронул каменную, сизую от бритья челюсть. — Что видишь, Псих?

— К нам выползают. Мы — встречаем...

Надо было угадывать, и Алексей Шишига угадал: «Выползает Бадма Цырендоржиев — этот невероятный бурятский снайпер...»

И вновь опрокинулась тишина:

— Шиш, это снайпер... Наш снайпер... с ним пацан...

— Хорошо... Оставь на позиции Ваньку-встаньку с Дюлей... И скажи, чтобы не густились... Потом забирай Дожа и гостей и — дуй ко мне! Как понял, Псих?

— Плюс, командир!

...Шел мелкий, докучливый дождь.

А за ним — апокалиптически-апоплексический рассвет.

На передке, на переднем крае, как и вчера, было мертво, дико, голо — все снесено артиллерийским огнем, разбито танками. Деревья, карусели, горки переломлены, искорежены и, словно великаньей дланью, раскиданы; из уцелевшего в парке — лишь желтая скамейка, с синей трещиной вместо грядущки. Наблюдатели — Дюля, старик с умными собачьими глазами, и Ванька-встанька, вьюнош с длинной гусиной шеей, — оглядывали позиции. Каждый по-своему. Дюля — быстрым молниенным взглядом. Ванька-встанька — долгим, словно бесконечным.

Дождь ушел, как и пришел, но солнце где-то запропастилось.

Птицы с криком носились над переломленными деревьями и боялись на них сесть.

Ближние к наблюдателям громады домов серели. Но и все дальше громады было оловянно-серым. И только совсем уже вдалеке проблеск чего-то безупречно-ясного. Ванька-встанька взял у Дюли бинокль, поглядел и вдруг понял: это рыбьим блеском блестит крыша драмтеатра.

А на другом конце города небо уже распухало и краснело от огня. Но это не был огонь драконов.

А в подвале панельной девятки, куда водворился штаб штурмовой роты, гремели посудой и разговаривали. Псих ядрено-балагурным тоном предлагал гостю — снайперу Бадме — выкушать водки. Бадма соглашался только почаевать, объясняя, что ему еще в «серую» зону местись. Работать... Война вошла в его кровь и уже давно сделалась работой... Но Псих и тут не отставал, говоря, что «моя работенка — это за разум зашедший ум возвращать... азовцам и прочим нехристям». Право, Псих всегда лелеял в себе невероятную ясность. Уходя на передок и играя смехом на губах, по обыкновению своему, загадывал: «Помирать коту не в лето... Если вернусь, будет то-то и то-то...»

Впрочем, такое вот «если вернусь» здесь, в Мариуполе, загадывали все бойцы. И даже невозмутимый Бадма Цырендоржиев.

...Бадма ломал уже третью войну.

Кто бы поверил, глянь он на этого плотного человека, туго обтянутого гладкой, без единой морщинки кожей. Возраст разоблачали волосы, зимне-белые. Он не был смуглый, у него была своя, натуральная белость. А начинал Бадма ратоборствовать в афганской провинции Бадахшан — там, где пыльные вихри поднимались головой до неба. К этим вихрям и к этому небу он быстро привык. Да и все в боевитом восьмьсот шестидесятом отдельном мотострелковом полку привыкли.

В учебке же было так, а не эдак.

Только пошли стрельбы, а его уже в снайперы возвели... Повели... И — вывели... А как иначе? Пятикопеечная монета — пробита. И это со ста метров! Прапорщик только в ус дунул. А ночью — с такой же дистанции — Цырендоржиев погасил и новогоднюю гирлянду. Бадме — потомственному снайперу — даже духов не потребовалось созывать для этого. Его дед в Великую Отечественную воевал в тридцать второй Сибирской дивизии, где было много бурят. «Немца надо бить в глаз, чтобы шкурку не попортить», — говаривал впоследствии дед. А все потому, что «человек дольше помнит не добро, а зло». Вот дед и помнил. Орденов же — тьма-тьмушая. А сам — сплошная рана. И все-таки восьмерых детей сподобил!

Восьмым у родителя был и Бадма.

В стране афганцев его звали «Хазаром», не отличая совершенно от хазарейца. За ним охотились — ведь он скогтил осанистого душмана-бородача, главаря. Потому моджахеды и предлагали за голову «шурави Хазара» пятерых баранов да мешок иранского риса. И то и другое — знатный куш.

В Хазара целили даже из винтовки «бур», коей англичане когда-то этих буров гореванных в Африке нещадно истребляли. Так вот, прострелили бронжилеты. Бурят примостил их за камень — такой, значит, кунштюк, — дабы выманить афганского снайпера. От выстрела могучего бронжилеты и разметало. А Бадму, Бадму, его духи уберегли... Не сгинул он, но сказал: «Умереть сегодня страшно, а когда-нибудь — ничего...»

Вернулся домой целым, невредимым. И «тихими стопами... и вместе» — в Баргузинский лесхоз. Да, мечтал — «о полной тишине и благоговейном, как бы ждущем его покое». Но амарантовое будущее не вытанцевалось: недолгое время спустя Бадме позвонил его бывший комполка Лев Рохлин и позвал подсобить в Чечне, где уже командовал корпусом. Сулил достойное обхождение и денежное довольствие, а еще — вкуснейшей бурятской буззы и хушуры. Снайперов тогда не хватало. И боевики начали злеть. Надо было быть злее их. Бадма был. Воевал и в первую, и во вторую чеченскую... И право — «наше добро не сразу осилило их зло». На прощание Рохлин распорядился приготовить для Бадмы хорхог — баранину на углях... О, повара не подвели — расстарались так расстарались! По завету... Ну да — «солдат любит забо-

титься о своей утробе, и в этой его заботе... не низменный, но существенный смысл». И может быть — поэзия...

Каждый молод, молод, молод,  
В животе чертовский голод,  
Так идите же за мной...  
За моей спиной.  
Я бросаю гордый клич,  
Это краткий спич!  
Будем кушать камни, травы,  
Сладость, горечь и отравы,  
Будем лопать пустоту,  
Глубину и высоту.  
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,  
Ветер, глины, соль и зыбь!  
Каждый молод, молод, молод,  
В животе чертовский голод.  
Все, что встретим на пути,  
Может в пищу нам идти...

Псих, будучи заместителем командира роты, но более, пожалуй, из-за случайного — «так захотел случай» — участия в военщине, очень этим всем интересовался. Кое-что даже и читал — о снайпере из Бурятии писал военный корреспондент. И что, естественно, это позволяло ему, Психу, теперь мысленно заглянуть в тот репортаж. Главное же заключалось в следующем: пока ждали с обхода Шишигу, появилась возможность по-расспросить Бадму самолично. Так сказать, «порыться обезьяньими руками в священных тайниках». Поразузнать: годится ли он сатане в дядьки? Покосившись на раскладушку, где тревожно спал спасенный снайпером рыжий пацан, Псих приступил прямо к делу. Так, как, собственно, и всегда:

— Подучил бы, Бадма, ты наших ребят... И я бы того-этого... подучился... А то, сам понимаешь, морген фри — нос утри...

— Подучиться на снайпера? — бурят разинул свой большой, как у лягушки, рот. — Смотря на какого... Снайпер-диверсант, пехотный снайпер, снайпер городского боя... В общем, ни яман, ни якши, а середня рука... Вот представь... диверсанта... Он сутками выжидает... А потом: один выстрел — и пора костям на место... Теперь снайпер-пехотинец... Этот действует в суматохе боя и в составе штурмовой группы. Этот — принадлежит своему левиафану — коллективу. Разит и наступает, наступает и разит. Да так, что душа скрипит в теле...

Левиафан, упомянутый Бадмой, тотчас вплыл в воображение. Стал напирать неожиданной ассоциацией на Психа. И тогда заколыхалось-вспомнилось: «Он живет всеми интересами страны и мира, весь нацеленный в будущее, к которому рвется безудержно, напролом, шагая так, чтобы „брюки трещали в шаг“ и к прошлому относил лишь „путаницу волос“... А ведь это и Шишиги касаются... Будто о нем и реклось... И да, кому еще „открыт доступ отзвукам всесветных событий“? Венецианов прав — никому... Только Шишиге... Э-э, надо будет это получше осмыслить...»

Не замечая, что лицо Психа в свете лампы неверно, бурят продолжал:

— Городской же снайпер — это... Это такой движитель, что ли... Да, не вечный, конечно... Но... Всегда для-ради общего дела: в многоэтажках и опорных пунктах прикрывает своих и отсекает врагов. А еще он — среди чертолома — лазит по канализа-

ционными люками, крысиным подвалам, подземным тоннелям и прочей утробе. В городском бою очень важно успеть подняться на верхний этаж дома и соорудить там опорник. Или вообще махнуть на крышу.

Во обзор!

Но если по тебе начнут бить из танка, надо тотчас же стушеваться. Сам ведь знаешь... Такую вот панельную девятку, как ваша, танк разбирает... Ну, десятую... ну, пятнадцатью выстрелами... Э-э, по-любому... похоронит под завалами... Когда здесь, в Мариуполе, по мне начинал танк работать, так я по веревке из окна спускался... Как альпинист... Ноги, ноги важны, чтобы вовремя убежать... А то — карачун...

— Э-э, превосходная как будто теория! — вклеил зачем-то Псих.

— Превосходная, — рассеянно согласился Бадма, думая о своем, — при условии, что человек предрасположен к снайперству... Не всем ведь дано... Я что-то в стране афганцев не встречал русских снайперов. А почему? А потому, что мы с вами не похожи, как разные братья... Другое дело буряты, якуты, тувинцы, калмыки, ханты, манси, нивхи... Даже чукчей встречал... Глаза у нас узкие, кошачьи, видим мы далеко... Тем не менее в армии снайпера выбирают после полугода службы. К нему присматриваются, принимают... Психику изучают да стрельбу оценивают... А вот в чем особенность нашей работы на Украине? Ты, кажется, этого не думал?

— Не думал, а в чем? — переспросил Псих, переспросил медленно, раскачиваясь как бы от физической боли. При тусклом освещении он казался изжелта-бледным. С одной стороны — постным, а с другой — скоромным.

— А вот в чем... — отвечивал Бадма. — Э-э, снайпер-диверсант работает в «серой» зоне... Именно в ней... А это три-четыре километра, засеянных лепестковыми минами. Толком и укрыться негде... Нам же леса подавай. Горы. Тучные, как медведи... Ну, в крайнем случае — незрелые поля... Мы привыкли к такому пейзажу... А здесь... здесь, в каменной реке города, приходится действовать в основном на рассвете, когда все предметы приближаются издалека... Гм, я люблю красный, каленый свет утра... Бывало, выцелишь жертвочку таким вот утром, а тебя уже накрывают минометами. Бьют по квадратам. Да так, что земля воет. Вот и имей пути отхода. Будь быстрым, бегучим...

Скребись — выживай... Травой, землей, водой темней... Но выживай!.. Я тебе вот что скажу... Как-то шли мы по тропинке у подножия Гиндукуша, а навстречу нам и сумеркам выюркнул моджахед. Завозился, завозился и — обратился в камень. Рядом двестиного протопала рота, но никто ничего не заметил. Я замыкал. И мне камень тот не показался. Ну, текстурой, что ли... Присел — вроде как зашнуроваться. А потом прилег — и нет меня. Минуты три подъело. Наши утопали. Лежу — мертвец мертвецом. Вдруг камень поднимается, а под ним — живая жиль. Пришлось стрелять. Камень упал. Я стянул дерюгу, а под ней — бородач с дыркой во лбу... Вот с тех пор и не расстаюсь с большими мешками. Всегда в рюкзаке. Окрас — под местность. Надо — так вмиг окаменею. Ну и, конечно, «костюм лешего», и «мохнатый маскхалат» тебе в помощь.

Знаешь, сколько раз мимо проходили враги? И — разве что не по мне... Один даже помочился. Но я ни гугу — внутренний сторож не позволил... А вот наши снайпера в Чечне придумали такой финт. Они спиливали ветви бука и — за пояс. Глядишь — кустарник зеленеет. На окраине Бамута я тоже стоял таким вот кустарником и — сидел в спину боевикам...

Бадма давал описание, что называется, «с мясом и кровью». Но давал обыденно и беспристрастно. Психа задело, заставляя припомнить: «Нет теперь ни прошлого просто, ни давнопрошедшего, а есть один, до сегодняшнего дня длящийся, ничем не делимый ужас...» И еще мелькнуло: «Это — хуже, это ребенок с выколотыми глазами...»

— Какое оружие для снайпера лучше всего? — вопрошал у самого себя, кажется, совсем не ощущая никакого ужаса, Цырендоржиев и самому себе отвечал: — То, что он любит. А каждый любит свое. Я все перепробовал — и английские, и канадские, и израильские винтовки. Все равно лучше старой доброй СВД для меня нет. Гм, у нас в полку один догадливый пулеметные сошки к эсвэдэшке приделал. Но отдача такая была, что его на земле сдвигало...

Ты вот про «корд» спрашивал.... Адово оружие!.. Помню, в Грозном снайпера-араба достал... через стену дома... Внутренним взором увидел, где тот сидит... Заволок «корд» на пятый этаж — а он тяжелый — руки хотят от плеч... Ну и лупанул. А после глянул, конечно... Что, мол, да как... И «развалинами рейхстага» остался удовлетворен. Стена — проломлена... А снайпер — красная мокрая дыра — уже не хрипит... Только пальцы двигаются беспокойно, словно что-то заталкивают. И мозги — повсюду...

И снова придавило Психа и вспомнилось: «...пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потом теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве...»

Псих смотрел плохим взглядом.

А Бадма раскрывал и раскрывал свой большой рот:

— Снайперам ведь тоже приходится постоянно переучиваться. Сейчас надо уметь работать в темноте — на звук, на шорох. К этому не все готовы. Ночью, правда, «теплаки» помогают, а если прибора ночного видения под рукой нет? Или в него пуля попала? В общем, глаза есть глаза...

Недавно вот, в аэропорту Гостомеля, — слышал небось о таком? — с диспетчерской вышки я снял всушника, когда он у своего побратима сигарету от сигареты прикуривал. Бил по огоньку. Взял чуть выше — чтобы в голову попасть. Смотрю — огонек в воздух полетел, кувырдается... А возле Мешхеда, — ударил вдруг Бадма глазами — и тоже, надо сказать, ночью, я ишака засек. Головной дозор мы пропустили, а потом основные силы двинулись. Тут ишак и подвертелся. И — замарьяжило...

Белые трассеры разрывали воздух, как ветер. Но я работал из «корда», по животинам, — на звук. Столько верблюдов и ишаков завалил — на три каравана хватит... Так что нет техники — и нет... Полагайся на свои инстинкты. Смотри, слушай землю, нюхай воздух.

Мне вот под Авдеевкой в подлеске кошка на глаза попала. Сразу «сомнения полет» — что домашняя кошка тут делает? Взял на руки, обнюхал. А от нее костром пахнет. Значит, кто-то рядом обогревается? Утро холодным выдалось, небо только что позеленело... Пораздувал ноздри — услышал и запах горячего хлеба. Глянул пристальнее: у костра три багатура ломти с салом поджаривают. Гм, больше уж не разговляться им...

Бадма замолчал, обмыслил и сказал:

— Снайперу долгие часы приходится проводить на одном месте. А как, например, нужду справлять? Только под себя. Как новорожденному. В лучшем случае — закопашь поблизости... Захоронишь... Но вставать не моги — себя обнаружишь. В общем, можно только штаны приспустить да повернуться. И то — медленно.

А суеверия? О, мы очень суеверны... В нашем деле мистики хватает... Как-нибудь еще порасскажу... А пока только о Боге охоты упомяну, который у каждого снайпера свой... Так вот, перед боем обязательно надо на него молиться... Профессия опасная. Нас ведь не полонят... Мы всегда — «накануне прощания навек».

«В предсмертный миг часто бывает у солдата, — припомнилось-ковырнуло Психа, — проклятие всему миру-убийце и слезы о самом себе, слезы разлуки навек...»

— А приходилось за другими снайперами охотиться? — выскребся вдруг вопрос, и Псих посмотрел на Бадму своим черным глазами без блеска. При этом замкомроты покачивал, как, собственно, и всегда, крупной головой с необыкновенно высоким, незатененным лбом.

— Бывало, — с усилием, словно подтягивая веревку через блок, сказал бурят. — Ты охотишься за ним с алчной страстью, он, сволота, — за тобой. И выманить его непросто. Я предпочитал в таких случаях подбираться поближе... Э-э, с напарником... Синхронно. И — зигзагами. Когда враг видит, что вы к нему приближаетесь, нервничать начинает. Нервишки перетираются и — бежать. Потом чечены у нас это переняли. Они ребята рискованные, им понравилось.

Встречал я и снайперш, с красными руками, как у мужчин. Но никогда не воспринимал... Да, война всех сжимала... Но их она сжимала так, что брызгал сок. Многие потом рожать не могли. Здоровье подрывалось от холода и нечистоты. Это мы с тобой можем сутками в грязи и дерьме валяться, а женщина — существо чистоплотное. Ей блюсти себя надо. Ну, гигиена и все такое, понимаешь?.. Да и не женское это дело — война... Слишком много здесь скотства. Мертвечины... Здесь и Бог порою кажется мертвым... Оттого и страшна смерть человеку...

У Психа точно дверь воспоминаний открылась: «Бог есть — покойный человек, мертвый... А смерть... Смерть страшна чувством, что не стало главного добра, и уходишь, как похищаешь добро из мира, и оно сгинет в твоей груди...» Псих притворил эту воображаемую дверь, покачал головой и, не глотая больше мгновений, сказал:

— Бадма, ты нигде не был в найме... Ты идейный... Воюешь — и никаких гвоздей...

— Эй, дорогой, что хочешь? Говори так...

— Наставление хочу... — сказал разорванным голосом Псих и побелел, как тесто. — Дай его нашим снайперам на передке...

— Наставление? — поиграл морщинами у глаз Цырендоржиев. — Гм, дед мой привез такое с войны... на клочке бумаги... Это была памятка командарма Чуйкова. Я наизусть ее помню... Сделай же ухо острым... И послушай: «Снайпер — охотник. Враг — зверь. Выследи его. Вымани под выстрел. Скрытность и терпение — твое оружие. Стань невидимкой. Это сделает тебя неуязвимым. Учись голодать, переносить холод, терпи боль, будь неподвижен. Только так ты достанешь врага даже в глубине его обороны. Он коварен — будь хитрее. Он вынослив — будь упорнее. Ты больше чем воин. Твоя профессия — искусство. Ты можешь то, чего не могут другие. В тебя верят твои ребята. За тобой — Россия. Будь беспощаден. Заставь врага бояться тебя везде. Нагони на него страх. Только так ты победишь».

Дедовский завет — как обещание. Твердое и незыблемое. Добавить тут нечего...

— А про пацана добавить есть что? — загремел Шишига и угрюмо насталил глаза. Одет он был в старосолдатский бушлат и вошел в штаб стремительно, как входил и в свой дом.

Бадма Цырендоржиев поднялся из-за стола, вскочил и Псих. Но Шиш быстро, остро взглянул на них, вернее — не на них, а в них, внутрь, — и жестом усадил на место.

Все сели, все задышали с шумом.

— Про пацана добавлю вот что... — сказал бурят, словно направляя на ротного свои воспоминания. — Вчера, когда солнце уже прятало голову, снайпер из «Азова» убил, — тут Бадма кивнул на спящего пацана, — его мать и сестру. Здесь, недалеко... Они возле своей панельной девятки готовили... Там горел огонь, оттуда плыл запах... Так вот, там, у подъезда, эта сволота и положила их... Я заметил, откуда прилет... Ну и зачехурашил... А рыжий, рыжий не ранен. Но от увиденного — он ведь тогда страшно завопил — с головой и повредилось... Не говорит... Слышит, но не говорит... Назвал Магнумом. Потому как «магнумом» его родных и убило.

Когда Бадма, словно отрывая от сердца окоченевшие, мертвые куски, отповествовал, Шишига переглянулся со своим замкомроты:

— Псих, потом, с оказией, переправишь пацана в тыл... Вник?.. А пока пусть его медик наш осмотрит...

— Уже осмотрел, командир.

— Что еще?

— Мирные были...

— Мирные?

— Ну, эти, из второго подъезда... — заторопился объяснить Псих. — Всю воду из батарей отопления у себя повыпили... Так я наделил их нормальной водой и сухпаями...

...Низкое солнце желто светило на город.

Ветер трогал пленку, занавешивавшую чердачное окно, и навевал дурной запах.

Шишига был на своем НП один, если не считать мертвых птиц под ногами. Он угрюмо смотрел в окно на лежащий как бы в гробу Мариуполь и не замечал шевеления пленки. Алексея увещевали слова. Те самые, что близко к подлиннику были сказаны вчера Дожем — Игорем Анатольевичем Венециановым — бывшим его и Психа учителем литературы. «Мы победили всех животных, — говорил Венецианов, и шрам его опять становился белым, — но все животные вошли в нас, и в душе у нас живут гады...» Слова не промахнулись. Да и не могли промахнуться. Но теперь вдруг вызначились иные, давным-давно в Вечной книге Алексеем читанные: «Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся».

И тут в голове у ротного все перемешалось: евангельские изречения, дурной запах и мертвые птицы. Но потом он все-таки выговорил:

— Видевшие — это мы... Это — я, Венецианов, Псих, Дюля, Ванька-встанька, Бадма Цырендоржиев... А бесновавшийся — это тот, кого мы теперь убиваем, и тот, кто убивает нас...

## 2

Подвал запечатан тьмой.

Дюля запечатан своими воспоминаниями.

Рядом то ли всхлипывает, то ли бормочет во сне Ванька-встанька, но Илья Ильич Дюльченко уже не здесь, не в подвале панельной девятки, где отдыхают бойцы штурмовой роты, а в дремучем послеполудне июля. Сидит за обеденным столом, обхватив голову красными большими руками, — старается не слышать звенящего голоса Валентины Ильиничны, но поди ж уйми расходившуюся бабу — вовек не уймешь:

— Ты, Илья Ильич, попроведал бы сынка... Чего молчишь?

Супружница вдруг обмирает и с опаской трогает его за плечо:

— Чего, старый, пужаешь? Думала, ты — того... отходишь...

В свои пятьдесят восемь июлей Илья Ильич и впрямь зачерствел, оброс, посерел — угольная шахта, конечно, никого еще не молодила. Разбивала — да, но — не молодила. А Дюльченко уголь-то без малого тридцать лет тягал. И — «тело износил на горестных дорогах» — как герой стихотворения, которое Илья Ильич отродясь не слыхивал, но в котором вся жизнь его и промелькивала:

Томится сила недр земного шара,  
 И злобный зной в душе от тесноты домов.  
 Ждет мир последнего, смертельного удара  
 И взрыва недр — без вскрика и без слов.  
 Пусть ливень разорвет кору и крышу над постелью  
 И водопады ночью песни запоют,  
 Пусть корабли людей подымутся над мелью  
 И в темный вечер в океаны уплывут.  
 Любовью, ужасом и жалостью к потомку  
 Прикован к дому и к работе человек.  
 О, гленье тел, пищеварение негромкое,  
 Быстрее тебя машинный перегретый бег.  
 Среди обыкновенных дней трава расти устанет,  
 Все познано, едою зубы стерты,  
 И сердце жизнь вконец отбарабанит,  
 И звезды недостигнутые — мертвы.  
 Греми, тоска! Из камня сделаны дома!  
 Еще сладка еда и горячо дыхание жены.  
 Над крышами до звезд стоит пустая тьма,  
 И каждой ночью снятся беспамятные сны.  
 Я тело износил на горестных дорогах.  
 Нет мудрости свирепой и друга с парой рук,  
 Мозгов мужских и женщин полновесных много:  
 Дороже всех материков —  
 Дверь тихо отворивший друг!

Как потом, впоследствии уже, выяснилось, Илья Ильич Дюльченко оказался семижильным. А старость, старость с ним так и не попритчилась. Не повстречалась. И вообще — в тот високосный июльский послеполудень он недолго тонул в мыслях...

— Собирай, Валентина Ильинична, передачку... — заговорил Дюльченко и узлом завязал улыбку. — Свезу — порадую сынка... Да, вот еще что... сала не забудь швырнуть... Нашего, порохового...

Мать не только сала не забыла, но и пирогов, и конфет собрала. А еще — носков уложила.

— Куда ж столько носков? — дивился Илья Ильич, разглядывая объемистую укладку.

— Чего жалеть-то, старый? Знаешь ли ты, что обстираться там, в окопе, негде... Вези, вези и не спорь...

Повез.

На перекладных.

Но живым сынка своего Дюльченко не застал — на сорок минут или, быть может, на час и разминулись только. Когда Илья Ильич приехал на передок, к донецкому аэропорту, его Андрей, его Дюля, был уже изъят из жизни... Поганым осколком... Тогда всех это поразило, пацаны что-то хотели сказать старику, как-то утешить, но не находили слов. Шишига тоже не сумел, а должен был. Илья Ильич сам обмыл сына, сам сделал домовину, сам в сыру землю опустил. День прошел, другой, а старый Дюльченко домой не едет и — молчит, молчит.

— Дай автомат! — бросил на третий день он Шишиге, прерывая молчание.

Командир штурмовой роты глянул в умные собачьи глаза старика и сказал:

— Дюлин бери!

— Зови меня Дюлей.

— Добро, Илья Ильич!

— Ты не понял. Зови Дюлей, Андреем... Больше я не Илья Ильич...

Дюле стало невмоготу в подвале, запечатанном тьмой.

Он натянул бушлат и, стараясь не разбудить громко сопящего Ваньку-встаньку, пошел до ветру. Оправился. Покурил, прикрывая широкой, как блюдо, ладонью дрожащий огонек сигареты. Бросил взгляд туда, наверх, на самый чердак, где Шишига обустроил свой НП.

В окне никого не было, там была ночь.

...А ночью — безумие.

И Дюля — на самом его дне.

Это следовало бы до времени скрывать, как преступление, но...

— Заприте ворота, дабы никто из них не сбежал... — нес околесину старик, размахивая штык-ножом. — Выносите мне их одного за другим...

Тут он сбился, но потом опять забормотал:

— Горе нам за тот час, когда нас ввели в заблуждение... Иоанн ведь суров и жестоко накажет нас...

Но вдруг бормотание сменилось истовой молитвой.

По окончании же молитвы, сняв бушлат свой, старик начал резать его штык-ножом. Послали за Шишигой. Когда ротный явился, бушлат уже был изрезан. Но как-то так, что не расползался и сохранял возможность быть надетым. Дюля его тотчас же и набросил на плечи. И, кутаясь, стал произносить в смятении:

— А бичующие демонов восклицали: «Ступайте и покажите отцу вашему сатане, коли то будет ему приятно...»

«Умалишенный», — придавило ротного.

А Дюля, накинув на шею откуда-то вдруг взявшуюся цепь, молвил:

— Посмотри, как торопился я на помощь к тебе, потому что сильно беспокоюсь о тебе... Мне ведь предписал печься о твоём спасении сам Господь, заботящийся и дающий всем людям то, что им нужно... Посему крепись, чтобы стать испытанным во всем... Скоро ведь и ты будешь свободен отправиться по собственной воле, куда только будет угодно твоим очам...

Переменившись в лице — почеловечив, — старик вопрошал:

— Кто ты, о господин? Ответь мне, ибо я не знаю...

И — излишествуя — продолжал:

— Я Иоанн, возлежащий на чистой и животворной груди Господа нашего Иисуса Христа... Господи Иисусе Христе, велика и несравненна сила Твоя, что являешь милость мне, ничтожному... Сохрани меня, Господи, в правде Твоей и сподобь меня обрести благодать от Тебя, многомилостивый Господь...

Договорив, Дюля вынул из кармана сухарь. Обдув налипшие крошки табака, обмахнув рукавом мелкий сор, старик протянул сухарь этот Шишиге:

— Попробуй вкус моего царства...

И вот пока ротный пробовал, старик не умолкал:

— Смотри, как невыносима для тебя горечь вкуса, а ведь я дал тебе познание совершенного служения мне, ибо таков тесный и мучительный путь, ведущий к жизни...

Только теперь Алексей Шишига начал постигать, что Дюля никакой не умалишенный, а просто морочит его. Потому и спросил прямо:

— Старик, ты что затеял, а?

— Прогуляться до драмтеатра... — такой же прямой последовал и ответ. — Оглядеться... Ну, перед штурмом... Как мыслишь?

— А что, прогуляйся... — согласился ротный, глядя так, что глазами вот-вот проглотит. — Только без Ваньки-встаньки...

— Разумеется, пацана я туда не поташу...

— Добро, Дюля!.. Но вот что еще скажи: у кого этих вавилонов понабрался? Ведь я решил, что ты умом тронулся... Да и все так решили...

— У кого понабрался?.. — скривил рот Дюля. — Да у супружницы моей, Валентины Ильиничны... Всю прошлую зиму зачитывала меня «Житием Андрея Юродивого»... Так зачитывала!

— Понимаю... школа!..

— Ну, мне пора, — рот старика съехал совсем влево. — Пока темно, как в утробе... пойду...

— Прошу только, — начинал Шишига Дюлю, — будь осторожен... А то азовцы на лоскуты пустят... Ну, вот как ты свой бушлат пустил...

— Плевать на бушлат. У меня еще есть...

...Юродивого заметили, обступили.

Растерзанный вид — грязная вязаная шапка, стоптанные ботинки без шнурков, железная цепь и лохмотья, бывшие когда-то, видимо, армейским бушлатом.

Весь — в собачьей шерсти.

И даже дух — собачий.

Этот юродивый старик, зыряка безумными глазами и находясь в самой гущине людской, говорил, впрочем, осмысленно:

— Знай же о нашем городе... Вплоть до кончины ни один народ не пленит и не возьмет его, ни в коем случае, ибо он отдан под покровительство Богородицы, и никто не похитит его из ее рук... Ведь многие народы будут нападать на его стены и сломают свои рога, отступая с позором, но унося из него дары и большое богатство...

Юродивому внемлили.

...Уже мутнело, когда Дюля прибил назад.

— Ну что, старик? — спросил ротный так, будто огонь вспыхнул под пеплом. — Огляделся?

— Вполне... — сунул старик кислую улыбку Шишиге. — Они там того — беженцев не выпускают, на блокпостах задерживают, «пояснючи це забезпеченням безпеки»... Сотни человек свезли в драмтеатр, кофеем потчуют, на камеру снимают... Вопрос: зачем?

— Подумаю.

— Подумай, ротный! — улыбка исчезла. — Только быстрее.

— Провокацию, считаешь, затевают?

Дюля лупил глазами:

— Всякое может стать, всякое...

— Обожди, старик, не уходи... Назначают тебя начальником разведки...

— Могу подбирать людей?

— Подбирай.

### 3

Если кто в штурмовой роте и соответствовал своему позывному в полной мере, так это Ванька-встанька. Вот встал он вчера на позиции, как бы плюя, и тотчас же — плюю поймал.

— Непочетник! — врезал Дюля. — А еще разведчик... Тьфу!..

— Плечо задело по касательной, — заключил военврач Чентуков, — кость цела...

Но раненого в тыл не вывезти.

Одна разъездная «маршрутка» — допотопная бээмпэшка — и та превращена в дуршлаг крупнокалиберным пулеметом. И как только экипаж не покрошило?

Так испрохвала, ненароком, Иван Хараджаев, он же Ванька-встанька, знатно перевязанный и от службы освобожденный, получил возможность заняться привычным делом — болтовней.

Язык распускать Ванька-встанька был мастер.

И потому любил, чтоб его слушали. А этот рыжий пацан, Магнум, его речами, надо заметить, заслушивался. Толковал же Ванька-встанька лишь об одном — о море.

«Вся морская терминология, — вычитал он у Паустовского, — так же как и разговорный язык моряков, великолепна. Почти о каждом слове можно писать поэмы, начиная от „розы ветров“ и кончая „гремящими сороковыми“ (это не поэтическая вольность, а наименование этих широт в морских документах). А какая крылатая романтика живет во всех этих фрегатах и баркантинах, шхунах и клиперах, вантах и реях, кабестанах и адмиралтейских якорях, „собачьих“ вахтах, звоне склянок и лагах, гуле машинных турбин, сиренах, кормовых флагах, полных штормах, тайфунах, туманах, ослепительных штилях, плавучих маяках, „приглубных“ берегах и „обрубистых“ мысах, узлах и кабельтовых — во всем том, что Александр Грин называл „живописным трудом мореплавания“».

Но больше Ванька-встанька уважал все-таки романиста Жюль Верна. Почтительно величал — «месье Жюлем». Читал и перечитывал его творения. А фильм «В поисках капитана Гранта» пересмотрел аж семнадцать раз!

Словом, это все страсть как распалило воображение Магнума. И теперь пацан не оставлял своего кумира — Ваньку-встаньку — ни на полминуты. Ну а сам Ванька-встанька чувствовал себя эдаким приветливым начальством — все заметили, что он уже и руководить пацаном начал: «Магнум, че резинишь? Чисть картошку!» или «Че сидишь? Поддай бинт!» А рыжий и рад стараться, лишь бы Ванька-встанька беседовал с ним... о море и моряках... Да о чем угодно, лишь бы не прогонял...

— Я до того, как в ополчение поступил, — повествовал Ванька-встанька, — я, это, в приюте католическом живывал... Тут недалеко, в Сартане... Веришь ли, Магнум, совсем невольно мне там сделалось... Нас, приютских, в «Азов» ведь затягивали и почти всех затянули... Всех девятых... Мы и окопы рыли для азовцы... А еще они нас тренили... Ну, как гранаты бросать... Как стрелять... Как вообще человека до полусмерти взбучить... — запрыгала вдруг редкая щетина на подбородке Ваньки-встаньки. — Не знаю к чему, но я теперь о кресте вспомнил... А впрочем, знаю... Я тоже, как тот крест... э-э, не хотел из Марика нашего никуда уезжать... Вот и остался... Воюю... Но да ладно, слушай о кресте... С восемнадцатого века он считается явленным... Пастухи нашли его в поле еще в бытность в Крыму, незадолго до выселения... Отнесли его в сельскую церковь, но он не захотел там остаться... Два раза возвращался он сам собой на старое место в поле... Наконец когда его принесли в избу одной благочестивой вдовы, он остался здесь до самого выселения православных... Когда захотели православные переселиться, с крестом опять беда... Э-э, не хочет он оставлять излюбленные места... Сняли его с молитвами, положили на телегу, повезли... Да не тут-то было... Оглобли телеги повернули назад... Только когда крест к телеге привязали, тогда и смогли его с собой в Россию отвезти...

Ванька-встанька помолчал и примолвил:

— Люблю наш Марик... Ограничен он с трех сторон водой... Морем, Кальмиусом и Кальчиком... А хочешь, Магнум, я тебе про дела давно минувших дней почитаю?

Мы тут опорник брали... Э-э, в тридцать седьмой школе — так я прелюбопытную книжку нашел...

Магnum с воодушевлением закивал.

— Ага, вижу, хочешь...

И тогда книжка — с мягкой, изрядно потрепанной белой обложкой — была извлечена из рюкзака:

— Ну так обратись же в слух... — Ванька-встанька послунывил палец, приготовившись перелистывать страницы. — Это были те еще морские баталии! «Вечером 23 мая 1855 года англо-французская эскадра, подвергшая жестокой бомбардировке Таганрог, появилась на мариупольском рейде. Большинство жителей эвакуировалось в Сартану и другие близлежащие села, а две сотни казаков шестьдесят восьмого Донского полка под командованием полковника Кострюкова готовились ружьями и саблями — артиллерии не было — оборонять город от эскадры в шестнадцать вымпелов.

В семь часов утра 24 мая бойкий катер высадил на берег парламентаря, который потребовал, чтобы в Мариуполь был беспрепятственно впущен десант „для истребления казенных зданий и другого имущества“. Кострюков с достоинством ответил, что если неприятельские войска высадятся на берег, то казаки готовы встретить их огнем.

Потянулись мучительные мгновения.

В девять часов тридцать минут рывкнули дальнобойные пушки эскадры, первое казенное ядро попало в Харлампьевский собор — самое высокое здание и прекрасный ориентир для вражеских артиллеристов. Ядра рвались в различных частях беззащитного, в сущности, города.

Но пока Кострюков отбивал со своими казаками десант, интервенты под прикрытием артиллерийского огня высадили несколько человек в порту Мариуполя. Каким-то особым составом облили они строения на Бирже и подожгли находившийся на берегу строевой лес, несколько частных магазинов с хлебом и солью и склады рыбы. Все это имущество принадлежало братьям Мембели и купцу Деспоту...»

Подмигнув, Ванька-встанька сказал:

— Да, Магnum, был тут у нас такой купец... Э-э, ты следишь? Ну, слушай, брат, дальше... «Хозяйничали интервенты и в самом городе. На Екатерининской они сожгли дома Хараджаева, Качеванского, Палеолога и другие. Жег французский офицер по приказанию английского командира...»

И снова — перст указующий, страстно поднятый:

— Миллионщик Хараджаев был моим прапрапрадедом... К слову... Так... «12 сентября два английских парохода подошли к Белосарайской косе с целью уничтожить там рыбные заводы. Казаки встретили четыре десантные баркаса огнем и успешно отбивали попытки англичан высадиться на берег. Шесть часов длился неравный бой, но когда со стороны Бердянска подошли еще два английских парохода, казаки вынуждены были отступить, а заводы были сожжены. Через два дня эти же пароходы подошли к Мариуполю и в течение полутора часов залпами обстреливали Биржу.

Между двумя упомянутыми событиями, майским и сентябрьским обстрелами города, произошло еще одно, несколько утолившее неудовлетворенное чувство мариупольцев, испытывавших потребность в возмездии.

Не только на Азовском, но и на Черном море не было тогда русского флота, и англо-французские корабли чувствовали себя здесь хозяевами. Их безнаказанность усугублялась тем, что не только в Мариуполе, но и на всем азовском побережье не было артиллерии, способной дать отпор интервентам. Поэтому мариупольцы так оживленно обсуждали то, что произошло неподалеку от города — у Кривой косы.

В начале июля 1855 года командующий англо-французской эскадрой крейсировавшей вдоль азовских берегов, послал канонерку к Таганрогу, чтобы обстрелять город.

Целый день, тщательно выбирая цель, неуязвимая для таганрожцев канонерка безнаказанно выпускала по городским кварталам снаряд за снарядом. К вечеру она отошла к Кривой косе, но здесь в метрах в девяносто от берега неожиданно села на мель.

„Сотня семидесятого Донского казачьего полка, — писал впоследствии Сергей Сергеев-Ценский, — пришла в понятное ликованье, увидя такой конфуз иноземных мореплавателей, только что громивших их город. Державшиеся до этого вдали казаки прискакали теперь к самому берегу, спрятали лошадей за буграми, подобрались на ружейный выстрел и открыли оживленную стрельбу по матросам.

С канонерки попытались было ответить картечью из медных пушек, но сильный восточный ветер накренил судно: стрельба стала невозможной. Англичане бежали на шлюпках, бросив даже флаги, за которыми устремились казаки.

Между тем подходил пароход спасать команду. На ходу он посылал в пловцов ядро за ядром. Казаки ныряли, но плыли, гогоча, как гуси, а с берега поощрительно кричали им и стреляли в отплывающие шлюпки.

Близко подойти пароход не мог: море у Кривой косы очень мелко, а казаки, доплыв, стали хозяйничать на канонерке, трехмачтовом судне сорок метров длиной. Они сняли большой и малый флаги, а когда подошли казачьи баркасы — две медные пушки, много всякого добра. Затем облили палубу маслом и подожгли.

Утром казаки пожалели, что не сняли с канонерки большого орудия и не вытащили паровую машину. Снова подошли на баркасах к пароходу, но ничего сделать уже не смогли: волна засыпала песком внутренность полусгоревшей канонерки, и от тяжести судно погрузилось еще глубже...»

Дочитав, Ванька-встанька захлопнул книжку и затолкал ее обратно в рюкзак:

— Англичане — саксы... Да французы — умная нация... Эти и сегодня к нам лезут... Знаешь, Магнум, мы все время слушаем в радиозфире их разговоры... А еще — ясно-вельможных панов-поляков, янычар турецких, немцев-ливонцев... Все, все тут собрались... Все хотят нас со свету сжить...

Ванька-встанька побледнел и добавил:

— А тех девяти пацанов моих... Ну, что «Азов» к себе затынул... Нет их больше... нет... ни одного... Шабаш!

Угольные глаза Магнума глядели куда-то мимо Ваньки-встаньки.

Рыжий — пестринка шла у него по лицу — часто-часто моргал.

Из-за обилия веснушек, усеивавших круглое лицо, казалось, что ему плеснули оранжевой краской.

И вдруг — слезы.

— Не ной, пацан! — проговорил, растягивая, Ванька-встанька. — Мы победим всех мастеров того света! Веришь мне?

Магнум — попрозрачнев и утерев слезы — кивнул.

Ванька-встанька улыбнулся — завеселился, как весеннее солнце:

— Знаешь, брат, я не то чтобы соврал давеча. Скорее, для красного словца приплел. Ну, насчет миллионщика Хараджаева. Никакой он мне не прапрапрадед. Сам подумай... Да разве бывают потомки миллионщиков сиротами? Право, не бывают. Но ты проще на это смотри... Жизнь, она куда как проще... Я вот с зевком божьим живу... Э-э, так Дюля говорит... Вот и ты живи...

#### 4

«Небо было исполосовано красными рубцами зари...»

Стены — рушились.

Гремела иерихонская труба:

— Лось... Э-э, командир пятой роты второго танкового батальона пятой отдельной мотострелковой бригады имени первого президента ДНР Александра Владимировича Захарченко...

«Чем-то на Котовского сдает...» — мелькнуло у Шишиги.

Он пристально поглядел на губастого, тыквенно-лысого, площадного человека в черном комбинезоне и сказал:

— Тяжко-жарко тут у нас... Утираемся и ухаем... Ух...

— Ничего, подсобим! — ковырнула воздух рука с мазутным армейским загаром.

— Да ты садись... — предложил ротный. — Как воюется?

И снова в штабе протрубило:

— Веществуем... Грызем гадов!

— Ага, а вот мои замкомроты и начальник разведки, — Шишига представил Психа и Дюлю, — теперь все в сборе...

Танкист поручковался с садившимися за стол штурмовиками и, опустив лоб на самые брови, спросил:

— Ну, кто начнет, мужики?

Шишига задел Дюлю взглядом.

— Значит так, — засерьезничал вдруг начальник разведки, — азовцы свезли в драмтеатр семь сотен мирных. И еще везут. Всех, кого на блокпостах заворачивают. Иностранная пресса трется. Явно чего-то ждет...

— Провокации? — уточнил танкист и с удовлетворением подумал о немолодом уже разведчике: «Солидный, не какой-нибудь оторвляжник...»

— Считаем, что да, — ответил ротный.

— А нам до драмтеатра нужно пройти еще два квартала — и целую жизнь, — бросил себя в разговор, как из пращи, Псих. — Начинаем наступать — тут же встречаются снайпера и пулеметчики... А вчера эти нехристи из «Азова» и вовсе постреляли мирных, чтобы сорвать нам атаку...

— Постреляли, — добавил Шишига, — с храбростью трусов...

— Да, — продолжал Псих, — атаку заколодило. Пришлось из-под огня вытаскивать раненых... Всех вытащили... Но молодую женщину, старика и юницу до медпункта не донесли. Военврач наш потом дрожал, как больной... Да приговаривал: «Умереть — не в помирушки играть...»

И тут Псих осекся, придавленный мыслью, что «внутреннее сердце мышь съела».

— Э-э, кровь пути кажет... надо атаку сорвать — убивай мирных, — подытожил Дюля. — И это — обычная тактика «Азова»...

— Тогда, мужики, вот что, — прищурился тыквенно-лысый, — поддержи вас завтра утром двумя «коробочками». Роте в наступление помогут «Victoria's secret» и «Кошмарик»... Ну, так мы промеж себя их зовем... Экипажи там опытные — будьте покойны...

— Как предполагаешь действовать, танкист?

— Какие-либо беспокойства запрещены... — громкий площадной человек встретился взглядом с Шишигой и тотчас погасил неуместную шутку. — Хочу сказать, это уже отработано, командир... Начинали штурм Марика — было десять танков... Теперь, через полтора месяца, осталось два... из тех десяти первых... А уж сколько раз подбивали — не сосчитать. Меня трижды! Только четвертый мой танк сожгли окончательно. Бог миловал, в роте нет убитых. Но раненые есть... Ничего, нам россияне передали шесть «бэ третьих» — так это просто «мерседесы» в мире танков... Оптика отличная. Они и птуры куда лучше держат. Теперь на них воюем. Кончаем тут нацистов. Скоро закончим...

«Он щелкнул, — вспомнилось вдруг Психу, — как волк, зубами...»

Лось же, распалившись, митинговал:

— Танки вообще тут не должны использоваться, но мы превратились в городских танкистов — длинную руку пехоты. Как только ваш брат упирается во вражеский опорник или попадает под огонь, так сразу кличут нас.

Синица в нос невелика — с перст... Ну, то есть тут своя тактика применения танков. В академиях ей не учат. Просто потому, что опыта такого раньше ни у кого не было. Даже в Сирии! Да, городские бои там были — я тебе дам!.. Но игиловцы такого количества противотанковых средств и артиллерии сроду не имели... А здесь мы воюем против подготовленного врага. И — вооружен. И — взаимодействие отлажено... Но грызем... Вся рожа наружу!

Работаем парами или тройками. Прикрываем друг друга. Захисники незалежности нас уже хорошо знают. Если видят — прячутся. Но у нас и против этого приемы есть. Ловим на живца. Две машины в засаде, третья себя обозначает. Ну, они и не выдерживают... Пытаются достать. А мы — грызем...

Поэтому полный боекомплект давно не возим. Только «конвейер» под ногами. Двадцати двух снарядов вполне хватает! Если запурят, то при открытых люках и пустой боеукладке есть шансы отделаться контузией, а вот если в немеханизированную боеукладку — а она по кругу башни — попадет, то все... Не вывезет!

Танкист грохнул кулаком об стол:

— Детонация. Башню вмиг откинешь...

Он помолчал, облизывая губы-пионы, и проговорил:

— А вот когда у всушников средств противотанковых до черта, так вообще пять снарядов загрузишь, отвезешь, навалишь и снова за пятью возвращаешься...

— Вы только на «семьдесят двойках» воевали? — сказал Псих, а подумал иное: «Он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете...» И еще подумалось-вспомнилось: «А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении, — тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья...»

— Нет! — гремел, по своему обыкновению, Лось. — Практически на всем воевали, что тут есть... И «семьдесят двойки» ранние, и «шестьдесят четверки», и всушные «булаты» отжимали, теперь вот на «бэ третьих»...

— И как всушные? — выговорилось у Психа, и тут же в голове — промельк: «Жизнь... отдать ее обратно правде, земле и народу — отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей...»

— Да ничего! — повел плечами танкист. — Тепловизоры знатные. Ночью — светлота. Связь тоже хорошая. Моторолловская, закрытая. Но у наших — как я уже предупредил — оптика и защита намного лучше...

— А снайпера? — глянул Дюля умными собачьими глазами. — Как насчет снайперов?

— Обычное дело, — отвечивал Лось обычным своим голосом. — Вот только утром очередного отработали. Зажал группу морпехов во дворе. Двоих подранил, остальные залегли — не шевельнуться. С ним пулеметчик для прикрытия. Мараковал — головы не поднять... Э-э, натуральная западня... Видимо, еще и минометом накрыть хотели... А тут мы! Подъехали. Осторожно так — из-за соседнего дома наблюдаем...

Мне передают: из окна с красными занавесками бьют. Но там тьма таких. Какое все-таки? Уточняют: на четвертом этаже. Ну, переключил прицел на двенадцатикратное увеличение... И сразу — рамочки с фотографиями на стенах. И — ствол торчит. Это снайпер затихарился, но винтовка-то длинная. В обычный прицел я бы не разглядел. В общем, в окно снаряд и вложил. Так три соседних окна вылетело! Смотрю в пролом — по лестнице вниз пулеметчик побежал... Ну, я взял упреждение и на первом этаже его принял...

— Попал? — вскинулся Псих.

— Попал, — у танкиста сияли голубые, а теперь почерневшие глаза. — Мертвый прах... Ведь мои аргументы — согласись! — позначительней будут... Не какие-то там финские «лапуа магнумы», а наши родные сто двадцать пять миллиметров!

Лось помял в руке черную шапку, намереваясь встать и уйти, но Шишига придержал его за рукав:

— Не спеши, командир... Пообедай с нами...

И тотчас же — забелели чашки, тарелки на столе.

— Добро, мужики! Кормите... Насадаюсь тут с вами...

На город падал снег, и таял снег.

Все Шишиге не спалось.

Все мелькали — «синие улыбки» да «малиновые вселенные».

Все выскакивали воспоминания.

## 5

Белый свет шел сверху, из окна мансарды, и был бедный.

«Неужели посмеют стрелять? — ковырнуло Шишигу. — Нет, нет, Венецианов ошибается...»

Алексей повязал георгиевскую ленту на рюкзак и глянул в зеркало — серые глаза сталисто блестели, прибавляя к двадцати годам его еще эдак годов пять-шесть.

«Девятое мая... Нет, не посмеют стрелять...»

Он запер входную дверь, нырнул в отцовский гараж и, порывшись под верстаком, достал кусок арматуры. Переложил из руки в руку, пробуя на вес, сунул обратно под верстак и — пошел со двора.

Уже вскоре Шишига тянул сонно-голубое курице, поджидая на троллейбусной остановке «Площадь Metallургов» бывшего своего учителя литературы Игоря Анатольевича Венецианова, Сашку Терпсихорова и... Агнию Ищенко... Впрочем, теперь он не хотел, чтобы Агния приходила: он боялся за нее. Сегодня они все вместе собирались отнести цветы к Вечному огню, ну и, конечно, — обсмотреться, обспросить, обмыслить. Как-никак — референдум одиннадцатого...

«Черт возьми! Это же через два дня... А жизнь в городе не назовешь улыбающейся...»

...Но вот явился Сашка — вперед Агнии и Венецианова явился — с разбитым носом, в растянутой и перепачканной кровью футболке.

— Ты чего, Саша?

— Ничего особенного как будто, — огрызнулся Терпсихоров.

— Псих, ну же...

Сашка посмотрел в железно-серые глаза Шишиги и, не выдержав его взгляда, сказал:

— Возле ГУВД навики перестряли... Ну, и закусились...

— А милиция?

— А милиция меня у нациков тех отбила... только...

— Только что?

— Это не местные брутализируют... Это — днепровские, из «Азова»...

— «Азова»? Не слыхал...

— Теперь услышишь.

«Надо было все-таки сунуть арматуру в рюкзак...» — мелькнуло у Шишиги.

— Чего замолчал?

— Да вот подумал, Саш... Они там чем-то вооружены?

— Цепями, битами... Э-э, так что будем делать?

«Я готов на преступление, на порок, но только не на бессмысленную жизнь...» — вспомнилось вдруг Шишиге, он помолчал и проговорил: — Что делать, Саша? Не знаю, пока не знаю...

— Вон Агнеша твоя с белыми розами и — вечно нелепым Дожем... — вскинулся Сашка. — Эй, мы тут... идите к нам...

Игорь Анатольевич, как и всегда, был расхристан и рассеян, тонок и непрочен, со сбившимся на бок галстуком-селедкой. Клетки — синие, сам — красный. Костюм Венецианова — слишком светлый, лет сто им носимый — и вовсе не заслуживал внимания. Словом, старье старое. Вековое. Да и коричневый кожаный портфель, с которым учитель также никогда не расставался, напоминал кофр дедовского аккордеона — до того был набит и потерт. Агния же — хрупкая и золотистая, как пшеничный колос. Платье абрикосовое и поясок. А еще — какие-то особенные духи. Ну и волосы — как у гречанки уложены. Подошла, поздоровалась. И сразу — к Саше. Осмотрела нос, сказала, что не сломан, а потом спиртовой салфеткой оттерла футболку.

— Благодарствую за сие чудо!

— Я не волшебник, — улынулась Агния. — Я только учусь...

— Все равно мерси!

Девушка повернулась к Шишиге и поцеловала в щеку:

— Ну, а ты, Алеша, хотя бы не дрался? Цел?

И тут у него, почувствовавшего запах Агнии, выяснилось:

...И медленно, пройдя меж пьяными,  
Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна.

Но выговорилось иное:

— Я-то цел, а вон Сашку нацики попортили.

— Да уж догадалась.

— Игорь Анатольевич, ну а вы как добрались? — поинтересовался Шишига, поглядывая на широченную георгиевскую ленту на лацкане учительского пиджака. — Без происшествий, надеюсь?

— Нормально, Алексей... Право, все нормально...

Венецианов положил портфель на скамейку и, разминая запястья, начал как-то сбивчиво, на два голоса, говорить:

«— Назови мне последнее число верхнее, самое большое.

— Но это же нелепо! Раз число чисел бесконечно, какое же последнее?

— А какую же ты хочешь последнюю революцию! Последней нет, революции — бесконечны. Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо, чтобы дети спали спокойно...»

Шишига глядел удивленно.

— Да, Замятин... И тебе, Алексей, конечно же, хотелось бы до зарезу знать, к чему я клоню...

— Ну да, хотелось бы...

— Так сам же Замятин и объяснил... «Если бы в природе было что-нибудь неподвижное, если бы были истины — все это было бы, конечно, неверно. Но к счастью, все истины — ошибочны: диалектический процесс именно в том, что сегодняшние истины —

завтра становятся ошибками: последнего числа — нет... Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо, чтобы дети спали спокойно...»

Агния безмолвствовала, но Сашка вклеил:

— А будут ли?

— Не будут, — на лбу Венецианова побелел шрам, полученный им еще в феврале, на майдане Незалежности.

— Отчего такая уверенность, Игорь Анатольевич? — вклеил и Шишига.

— Ты снова вынуждаешь отвечать... Замятиным... «Так спрашивают дети. Но ведь дети — самые смелые философы. Они приходят в жизнь голые, не прикрытые ни единым листочком догм, абсолютов, вер. Оттого всякий их вопрос нелепо-наивен и так пугающе-сложен. Те, новые, кто входит сейчас в жизнь, — голы и бесстрашны, как дети, и у них так же, как у детей, как у Шопенгауэра, Достоевского и Ницше, — „зачем?“ и „что дальше?“. Гениальные философы, дети и народ — одинаково мудры: потому что они задают одинаково глупые вопросы. Глупые — для цивилизованного человека, имеющего хорошо обставленную квартиру, с прекрасным клозетом, и хорошо обставленную догму...»

Терпсихорова — как оглушило.

«Цари-то люди ложные и лукавые, — вспомнилось вдруг Сашке, — они и насмеются, и надругаются над тобой, и жизни тебя лишат...» И еще подумалось: «Мы глупые, мы понять не можем...»

А Шишига так и вовсе загорячился:

— Мы тянем в разные стороны — вот и все... А впрочем, объясните еще раз...

— Объясняю еще раз, — произнес в три приема белый, как глина, Венецианов, — в философов, детей и народ начнут стрелять...

— Вы уже что-то подобное...

Шишига не договорил, осекся — вроде как молния изломалась между туч. Гром заворчал. Но где именно — непонятно, ведь звук не сразу достиг площади.

— Это не гром, — затревожился Сашка, — это возле ГУВД стреляют, на Георгиевской...

Подхватились, побежали.

И тогда — окрик Алексея.

Послушались, остановились.

Но дальше и не пройти — желтое трехэтажное здание ГУВД облизывал огонь. Ярился, сторожил со всех сторон. Было шумно, нехорошо было — стрекотня автоматов перебивалась туканьем пулеметов.

И все же люди собирались, как рыбы на корм.

Вякали сирены, чернели походившие на жуков пожарные.

А рядом, в проулке, таксисты засовывали убитых милиционеров в багажники автомобилей, раненых укладывали на задние сиденья. И — срывались, сигнала. Агния тотчас же устремилась к таксистам. Шишига — следом. И вдруг — она подломилась, упала. И — розы упали. Рассыпались по тротуару. Он подбежал к ней, схватил трясущейся рукой. Он не помнил потом, как ехал в автомобиле и как ждал в больнице. Помнил только — морг и вытянувшуюся на столе Агнию. Не золотистый колосок, а бледную соломинку. Срезанную жизнь.

— Тромб оторвался... — заключил доктор. — Такое бывает... особенно при ишемической болезни сердца...

Тень легла на все последующие дни.

У гроба Агнии свечи тихо беседовали друг с другом.

Ветхий старик — прихожанин храма Рождества Пресвятой Богородицы — денно и ношно читал молитвенник, окончательно потеряв осознание всего земного.

Уже на завтра были назначены похороны.

...Похорон — с того дня — чудовищная низка.

Вот азовцы явились за Шишигой и, не застав, застрелили Владимира Алексеевича и Любовь Валентиновну... Из дробовиков. Как на охоте... А потом и — петуха пустили... Огня... Так у Алексея не стало ни родителей, ни родительского гнездовья.

Вот в азовской «библиотеке» — тюрьме, где «люди — это книги, и только нужно уметь их прочесть» — умерли, не выдержав пыток, одноклассники Ося Уткин и Паша Лавут. Один Шишига и ушел, когда его везли на допрос к «сапогам».

Вот — в страшно похожем на тоску марте — нехристи из «Азова», насильничав, с улыбкой крысьей удавили Марию Венецианову, Марусю, как по-домашнему ее величал отец. А ведь это лишь ее семнадцатый март был. Семнадцатый. Отца не ушибло, не придавило — его захлестнуло невидимой уздой. Под горло.

И вот теперь, восемь лет спустя, повсюду — в окрашенных в невзрачный цвет войных дворах Мариуполя — стали деревянные кресты насельников. А сами насельники сделались как будто тяжелыми для земли.

Вся, вся нынешняя жизнь окрасилась в монохром.

А все «синие улыбки» и «малиновые вселенные» остались где-то там, в далеком и невозвратном прошлом.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДРАМА В ТЕАТРЕ

### 1

«Земля — мерзлая, тусклая, голая, — вспомнилось Шишиге, — лежала неубранным покойником...»

Ротный мысленно открестился от «неубранного покойника».

Навел бинокль на подступы к тем двум кварталам, что отделяли его подразделение от драмтеатра. Обсмотрелся — все до капли увидел — и только потом скользнул взглядом по часовой стреле.

«Так, семь двадцать одна...»

— Дневальный, — позвал Шишига.

Он повернулся к дневальному — глаза его узились и кололи.

— Псих от танкистов вернется — сразу ко мне...

— Понял, командир!

Алексей Шишига отложил бинокль, закурил сигарету и, развернув карту, вновь пошел с карандашом по тем улицами, по которым уже менее чем через сорок минут пойдут бойцы его штурмовой роты.

«Пойдут... если танкисты прикроют...»

Додумать недодуманную мысль Шишига не смог: на НП влетел Псих.

— Две «коробочки», — откровенный, как правда, сказал Сашка, словно продолжая начатый разговор, — разместили на закрытых позициях...

— Где? — спросил Шишига, торопливо гася и заталкивая сигарету в переполненную окурками банку.

Замкомроты склонился над картой, быстро глянул и, по обыкновению своему, вскинулся:

— Здесь... на Митрополитской... Э-э, мы теперь «с закорючкой, с заковыристой загвоздкой»...

— Хорошо, Саша... А как тебе танкисты показались?

— О, это такой репортаж... с петлей на шее! — оживился Псих. — Ну, вникай... Вникаешь?.. Бивуак танковой роты — иначе это расположение и не назовешь — исполосованный, изрытый гусеницами больничный двор. Под яблонями белая больница. В дальнем углу, среди деревьев, темно-зеленые снаряжные ящики — пункт боепитания. К нему притгулился танк, и экипаж деловито, сноровисто передает по цепочке голубино-голубые снаряды, которые один за другим исчезают в распахнутом люке башни.

Рядом, у бетонного забора, бетонная же завалинка, на которой уложены доски — место отдыха, на них семеро, одетых кто во что и потому больше похожих на махновцев, чем на солдат регулярной армии, танкистов. Кто-то пушкой-папиросой дымит, кто-то продовольствует, кто-то и вовсе дремлет, откинувшись спиной к забору. А на соседних улицах жиглют снаряды, но ни у кого сердце не мрет. Соседние улицы в Мариуполе — это «дистанции огромного размера».

На обшарканном венском стуле — зеленый эмалированный таз. В нем, пофыркивая, плещется раздетый до пояса танкист. Махонький такой танкистик! Если бы не седенькие волосики — принял бы за подростка. Ручки и шейка черненькие от въевшейся солярки, сам же белесенький, с остро вылезавшими косточками.

Под раскидистой яблоней, на столе, — консервы и пачки с галетами.

Рядом крепкий, как бузник, вьюнош, облаченный в спортивный костюм и резиновые шлепки. Кряхтит и щиплет доску для сложенного из кирпичей мангала. И мангал от усердия уже прикапчивает. На решетке черномазенький чайник с двусмысленной надписью «хир.». Точка в конце сей надписи, видимо, обозначает сокращение слова «хирургия». В нескольких шагах от стола — зонт пляжный. Откуда он? С какого пляжа? Не дознаешься.

Тут и там — под прикрытием «крепостных тынов» — очетырехугольнившиеся танки, похожие обводами башен на каких-то допотопных существ. В укусах и рытвинах все. Все поименованы: «Victoria's secret», «Добровоз», «Бабака», «Кошмарик». И конечно же, все с крупными белыми «Z» на бортах, на башнях, на лобовых листах. «Z» — это мы! «Z» — конец нацизму. «Z» — конец «волчьему крюку», а значит, «Азову»...

Солнца зрак.

Капель звонит.

Артиллерия не усердствует.

Такая благодать в природе!

Но вот из-за бетонного забора — разбойничий посвист «семьдесят двойки». И тотчас же в проломе затемнел длинный ствол с набалдашником эжектора, а затем и корпус танка с выразительными «Z». Танк сбросил скорость и подкатил к больнице, где уже высились его бронированные побратимы. Там он пыхнул соляровым выхлопом и затих. Из башни выбрались и спрыгнули на землю танкисты. «Кошмарик» — разглядел я имя танка, выведенное белой краской на орудии.

Псих осекся, припомнил и снова с любострастием заповествовал:

— Ну, взять хотя бы командиров танков... Их можно сразу же на съемочную площадку — настолько колоритны. Губастый, с неморгающими глазами, — Рыба, мохнатенький и темный — Медведь, немногословный и скрипучий — Старый. Последние воюют на новых российских «бэ третьих», а Рыба на «Кошмарике» — «семьдесят двойке». Это один из тех танков, на которых рота и начинала войну. «Кошмарика» Рыба обожает. Говорит о нем с такой теплотой, с какою обычно о близком друге говорят...

Ты бы, Леш, слышал... Э-э, и вот еще что... Ты не ругайся только, я ведь и в больницу с совиноглазыми окнами понаведался...

Шишига молча дыбился, припоминая: «...от множества его размахивающих рук в комнате сразу становилось пестро и шумно...»

А Сашка — пестрил и шумел:

— Оставляли всушники больницу впопыхах... На верхнем этаже, в палатах, — гражданская одежда и военная форма. Вперемешку, в облипку. На столах недоеденные консервы, недочитанные «майн кампфы» и капелланские брошюры — о вечной жизни. Не захисников ли незалежности? В одной из палат — на шнуре черном — розово-нежное белье. Владелица его либо умерла... Либо уже с горячечным румянцем...

Все, все заставлено кроватями и тумбочками.

Попадают холодильники, вентиляторы и рентгеновские аппараты, посеченные осколками.

Зато на нижнем этаже — там, где склад, — настоящее Поле чудес!

Тонны брошенного медицинского имущества — от бинтов всех размеров, шприцов, систем и средств индивидуальной защиты до лекарств. Отдельно — гора тестов на ковид. А еще — картонные коробки, в пленке, с иностранными этикетками. Раскрываю: внутри квадратные пакеты с тканью, пропитанной чем-то вроде желе, — противоожоговые покрытия. Знатный трофей! Нашим пригодится! У дверей склада тентованный «Урал» — бойцы грузят медикаменты.

«В подразделения, — говорю, — отдадите?»

«Нет, — отвязывает язык один из бойцов, — у нас все есть. Это — мирным. Нацки же ничем не делились. Город на своих запасах держался, но теперь йок... что по-татарски — ничего нет... Да мы заказали поставку, и волонтеры тоже подвозят... Ну, а пока пусть ВСУ вырывают...»

Ротный размял сигарету, закурил и сказал:

— Если даже и попритчилось, и приглязилось — все одно — хорошо! Напишешь роман... после войны...

— Ох, и напишу! — согласился Сашка. — Дай, что ли, подымить...

— На, дыми! — Шишига протянул изрядно похудевшую за минувшую ночь пачку. — И — начнем... По сигналу — белой ракеты...

— Сделаем, командир!

— Псих, вникни... На рожон не лезете... Подошли к опорнику — танк отработал, заходите... Не дают всушники заходить — возвращаетесь. Снова — танк, снова — вы...

— Ну, в общем, по-суворовски... Э-э, баба бьет задом, передом, а дело идет чередом...

— Саша, ты меня понял?

— Отлично хорошо тебя понял.

— Все, покурили — ступай... И береги пацанов, Саша.

— Поберегу, Алеша... Но позволь поблагодарить тебя...

— И за что же ты благодаришь?

— А за русского человека... Ведь, как известно, «тигр с ягненком очень мило уживаются в душе у русского человека». То бишь в твоей душе...

— Вот теперь все, Саша, ступай... А то еще ненароком о древнем раю вспомнешь... да о мелочах куриных грехов...

— Ну все — я пошел... Поддай Бог ноги!

Псих казался диким — красные от бессонной ночи глаза, с прозеленью лицо.

Козырнул и — нет его уже на НП.

## 2

Туман — гад ползучий — расплзся, обнажил штурмующие порядки, и Шишига приказал взводному Лазарю сделать, как было. Соккрыть то бишь воинство. Вот Лазарь и рванул дымовые шашки. И — вовремя. Всушники «птичку» подняли в небо. И забродяжила та над позициями. Не будь завесы дымовой, все — накрыли бы минометами. А так ничего — утерлись вражины.

Шишигу вдруг коснулись воспоминания.

Вот он вытаскивает раненого Лазаря из-под обстрела в донецком аэропорту, а вот уже госпиталь. Лазарь — душа на нитке колотится — белый весь. Пригнутая белая голова. Белая под горлом простыня. И белый доктор, не уверенный ни в чем, разговор с собою заводит. А Шишиге только и нужно бы услышать: «Лазарь! иди вон...» И смерть не отделилась запятой — выжил Лазарь. Потом повествовал: «Взрыв опрокинул. Лежу. Как будто в бутылке монетка гремит... Понимаю — это злая живая душа гремит...»

И было еще так. Здесь, в Марике, и было. В первые дни ратоборства. В общежитии механико-металлургического техникума, что на Литейной, обосновался взвод Лазаря. Ночь — темно-синяя воронка. Все умаялись, все спят. Даже боевое охранение клюет носами. А чей-то голос — ангельски-тихий — взывает: «Лазарь, друг наш, уснул... Но я иду разбудить его...» И он выпростался из сна, встрепенулся. Грозное почувствовал. И тотчас же — мысль в замену чувства пришла. Свет зажег, на чернильные пятна глянул. Да и начал всех тормошить, поднимать, выводить вон из расположения. Еще одно дыхание и мгновение — «градом» всушники сыпанули. И вот уже кровля рушится, горит — надетое на костях — общежитие. Пустые глазницы окон. А взвод, взвод цел и невредим. Псих, узнав о сием чуде и хлопнув взводного по плечу, заявил: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...»

«А как будет? Как теперь-то будет?..»

Шишига, не ведая грядущего, болел им, как манией. Все двенадцать минут разраставшегося штурма ротный сам себя не сознавал. Лихорадочно хватался за бинокль. Тянулся к шикавшей рации.

«Как же будет?..»

— Нет, нет, нужно внутренне замолчать... — скомандовал вдруг Шишига. — Заткнуться... Не в первый же раз на приступ пошли...

Он снова схватился за бинокль — среди штурмовиков мелькал и Псих.

«Вот идол!..»

Ротный не видел вражеских снайперов, но знал, что они пытаются сорвать приступ. Не слышал ротный и приказа Лазаря на отход штурмовых групп: танковые выстрелы оглушали.

Но когда Шишига вновь нацелил бинокль туда, в самую гущину, его бойцы, эти сорвиголовы, уже закидывали гранатами растерзанный опорник.

«Двадцать две минуты на все про все... Ну что ж, лихо!..» — подумал ротный, проводив взглядом часовую стрелу.

— Командир! — затрубил Псих, ввалившийся на НП. — Мы — это сделали... Душным потом, красной кровью... Ты заценил, да?

— А потери? — холодом из ямы пещерной веяло в этом Шишигином вопросе.

— Два «трехсотых», — осекся было замкомроты, но сдюжил, — отставить, три... Еще Лазаря маленько корябнуло...

— Все одно — отправь в медпункт.

- Да там он уже, там...  
Псих — словно ему туго захлестнуло горло — занукал:  
— Ну... ну...  
— Что ну? Быстро дело сделали... Быстро и чисто...  
— Гм, еще скажи... Вполбарабана, вполтрубы, вполфлейты... И в четверть сна, в одну восьмую жизни...  
— А-а-а... Тебя не похвалил... Какого, спрашивается, черта туда полез? — казалось, Шишига сейчас хватит своего замкомроты по голове. — Штурмовик ты недоделанный...  
— Ну все, все... — клеил Псих. — Не размахивай биноклем...  
«Не слова — судороги, слипшиися комом...» — придавило одного, и он чужо посмотрел: — Вот какой из тебя военный? Ты все тот же учитель литературы...  
— И что? — не менее чужо посмотрел и другой. — Война кончится, я услышу дыхание старой жизни и буду, как прежде, учительствовать... А пока, пока воюю, как могу...  
Рассыпался неловкий, бестолковый разговор — Шишига это чувствовал. Всю суестьность чувствовал, только Екклесиаста не поминал. А еще совестился отчего-то. Но отчего?.. А впрочем, ему не хотелось ни думать об этом, ни зря слова тратить:  
— Гроб на полотенцах выносить не собираюсь... Довольно с меня гробов... двух твоих старших братьев...  
— Кто может умереть — умрет...  
— А что будет с матерью, с твоей матерью?.. Если ты...  
— Ничего, ничего... Все обойдется... Все будет... — Псих начал торопливо расстегивать планшет. — На вот, глянь...  
— Флаг? — пожал плечами Шишига.  
— Это не просто флаг, Алеша, это штурмовой флаг... То самое Знамя Победы... Правда, копия, конечно...  
— Зачем таскаешь?  
— Видишь вон ту кирпичную трубу... — Псих ткнул почерневшим от пороха пальцем в сторону завода Ильича. — Это огневое знамя должно быть там... Ведь там — в тревожном непокое заводского поселка — мой дом. Там мать моя живет... И братья мои жили... Постигаешь?  
— Постигаю.  
— А вот я ни черта... Ну, вот скажи: как это все с нами случилось? Когда?  
— А ты любитель крайних вопросов... Боюсь, что скоро ты спросишь меня о смысле жизни... как неприкаянный герой Тарковского...

У друзей — в глазах не смéрилось — вспыхнуло.

- Тогда я обязан заметить: «Подожди, не иронизируй».  
— А я, обождав с полминуты, без всякой иронии — продолжить: «Это банальный вопрос. Когда человек счастлив, смысл жизни и прочие вечные темы его редко интересуют. Ими следует задаваться в конце жизни...»

И далее — «по тексту»...

- «— А когда наступит этот конец — мы же не знаем, вот и торопимся...  
— А ты не торопись — самые счастливые люди те, кто никогда не задавался этими проклятыми вопросами.  
— Вопрос — это всегда желание познать, а для сохранения простых человеческих истин нужны тайны: тайна счастья, смерти, любви.»

— Может быть, ты и прав, но попробуй не думай обо всем этом.  
— А думать об этом — все равно что знать день своей смерти. Незнание этого дня практически делает нас бессмертными...»

Так они вели свою старую речь между собой. В том смысле, что об этом уже было сказано-пересказано. Не раз и не пять. И тогда Шишига вернул разговор к началу — зачину:

— Саша, ты пойми главное: это все с нами случилось не на майдане Незалежности, где бесновалась толпа... И даже не в Беловежской Пуще, где «наилучшие люди на свете с царской щедростью лгали в глаза»... А намного, намного раньше... Когда сын ушел от отца...

— Алеша, Алеша, — это же только притча...  
— Это — жизнь, Саша... И эта жизнь — плакун-трава...  
— Что же будет?  
— Блудный сын вернется.

«Есть неожиданности в каждом человеке...» — ковырнуло Психа, и он, вымаргиваясь, спросил: — И ты веришь?

— В это — верю, — сказал непреклонно Шишига.

И услышал:

— Почему именно в «это»?  
— Да потому, что я такой же блудный сын. И будущее... будущее, мне впору...  
«А мне? Мне оно впору?..»

Псих тотчас же прогнал эту мысль. Ему вдруг показалось, что он, Псих, исчез. И искать его нужно не где-нибудь, а в том самом будущем, где он зачем-то разлежся:

На полу лежит в теплушке  
Без подушки, без пальто  
Побирушка без полушки,  
Странник, беженец, никто...

— Что с тобою, Саша?  
— Пытаюсь, Алеша, глазами твоими посмотреть...

И тут день снаружи оброс воем, грохотом, железом.

### 3

Нудь.

Ни тихо, ни светло — весь мир в потустороннее не провалился.

Драмтеатр — тот, да, — тот провалился. Вчера, когда день был в полном ходу. Сложилось заклятие! Дюля, собственно, о сием прозорливо и предостерегал...

— Значит так, — гвоздил намедни начальник разведки, — азовцы свезли в драмтеатр семь сотен мирных. И еще везут. Всех, кого на блокпостах заворачивают. Иностранная пресса трется. Явно чего-то ждет, улыбки протискивая...

Точнее, ждала «хохочущий голос пушечного баса...»

Теперь — день спустя — дрожание театральной площади после взрыва уже не хранимо. В небо не вонзается рогами дым. И вообще, гримаса неба отброшена. И солнце — выдрано. Не из черной ли сумки?

Пожалуй, да...

И на город черной пряжей  
Опускается судьба...

Дюля — почерневший, обтянувшийся и даже не скинувший отрепьев юродивого — докладывает:

— То-то и есть... что изнутри рвануло... Повар драмтеатра видал, как азовцы незадолго до этого ящики в подвал затаскивали... Шестьдесят семь или шестьдесят восемь ящиков... И уж, разумеется, не с театральным реквизитом... Я осмотрелся... обнюхался... Черно и окаменело. Душный холод, а вонь — страшная. Мертвяки в развалинах попадают. Но их там немного... Может быть, дюжина... Ведь еще за день до взрыва драмтеатр почти обезлюдел. Ну а острый, нестерпимый запах распространяет все-таки гниющая теперь морская рыба. От повара знаю — завозили ее в несметных количествах... Вот и смердит...

— Так ты наверное знаешь, что там нет сотен погибших?

— Наверное... командир... У меня самого сердце — тук! — стучало, поворачивалось... Это потом только затихорилось...

Шишига захватил врасплох взгляд начальника разведки:

— Что приговоришь, присоветуешь?

— Еще давануть, командир. Всушники теперь как мясо на весах. Вниз головой. Взвешены и перевешаны... тридцать шестая бригада морской пехоты, пятьдесят шестая моторизованная бригада, семьдесят девятая бригада воздушно-десантных войск, полк «Азов»... Все тати — здесь... Э-э, из горла мариупольского не вырвутся...

— Тревога жиреет и жиреет, — проговорил язык в зубах затворявший Псих, — жрет зачерствевший разум...

Замкомроты плюнул и еще проговорил:

— Скоро у мира не останется неполоманного ребра.

...Когда Дюля — избавившись от машкерада и голода — уже распостеливался, Шишига словно в яму начал падать:

— Двенадцатого марта на весь мир было заявлено... Ну, что русские, мол, обстреляли турецкую мечеть в Мариуполе... А в ней,образи, — восемьдесят стариков, женщин и детей... Вот только сами же турки устами Исмаила Хаджид-оглу и опровергли эту мировую ложь: «Мечеть Сулеймана Великолепного не только уцелела, в нее вообще ничего не попадало».

Командир — строгое, как древних икон, чело — продолжал:

— Драмтеатр с удерживавшимися там мирными — следующая цель... И поэтому европейцы на голубом глазу теперь вещают, что нами погублено триста человек... Но всех, впрочем, перещеголяли американцы, насчитавшие уже полторы тысячи...

Псих, давно намеревавшийся сказать, сказал:

— Ну что ты на стену лезешь? Из нового — одно старое... Выдумку мнут... Геббельсы...

— Это я понимаю... Но... сердце в железе...

— Береги сердце, Алеша!

— Беречь? Но от чего? От кого?

— Гм, от мародеров, конечно... Вот опять сгрябчили... в беспризорных домах... Э-э, как же это... в бабушку и в бога душу мать... Ах, да... «Здоровые зубастые рты рыгают смехом...»

— Чьи же будут?

Псих глазами жадными цапнул:

— Пятьдесят шестой бригады ВСУ.

— А в прошлый раз? — словно свежую второпях, спросил Шишига.

— А в прошлый — «Азова»...  
— Чем же пробавлялись?  
— Эти вот — цацками золотыми... — трубил и не гас Псих. — Этим двоим не надобно ни телевизоров, ни планшетов, ни стиральных машин... Только цацки... Поговоришь с плоховатыми мальчишками?  
— Нет, Саша, не стану я их корить и крыть. Передавай военным прокурорам — пусть они тешатся... А то еще усахарю ненароком...  
— Ну да, ну да... Ваше слово, товарищ маузер...  
— Кстати, о слове... — качнулся Шишига. — А скажи, как там наши новобранцы?.. Бойкот и Воробей...  
— Уже в горячке пальбы... Ну а Дюля — глаз положив, возжелав — к себе в разведку Бойкота выпрашивает... Разрешить, что ли?  
— Разрешить... А то старик совсем замаялся... Ванька-встанька еще рану зализывает... И пока пригоден только на то, чтобы нашему рыжему Магнуму арапа заправлять... Так что разреши...  
Замкомроты даже приободрился, приосанился:  
— А Воробей... О, этот стреляет дуже метко! Бадма как появится, обсмотрит его... Нам снайпера... «Хлеба нужней, воды изжажданней...» В общем... «Граждане, за ружья! К оружию, граждане!..»  
Шире и шире открывал глаза Шишига:  
— Давно хотел спросить: как ты им позывные даешь?  
— А так... Воробей, он ведь Женька... Значит, Джек... Капитан Джек Воробей... Или попросту — Во-ро-бей...  
— Ну а Бойкот? Что о нем скажешь? Это же — само спокойствие...  
— Верно, ой, верно! Бойкот в миру — скучный, как банка консервов...  
— И оттого, — разулыбил лицо Шишига, — он... Бойкот...  
— Брависсимо, Алеша!.. А знаешь, я раньше иначе позывные давал... Я в детской книжке Маяковского их вычитывал... Тот — Слон, тот — Лама, ну а тот — Пеликан...

За окном чуть приметно шевелилось солнце.

Сам же Шишига не шевелился, обхватив голову руками. Голова его была чиста изнутри. В ней редела не медногорлая сирена — это громко и четко выговаривались позывные ребят...

«Слон, Лама, Пеликан... Им не определено жить бессмертно... И поэтому они уже не живут... Скольких я еще потеряю? Скольких?»

— А может, они не умерли? Может, они в чреве кита?

#### 4

Псих все гляделки проглядел.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.

Девять.

Десять...

Не пришла и в одиннадцать — человечье месиво в Донецке.

Жертв обстрела — полный троллейбус. И в голове у Марии стукотня: «Дела много — только поспевать...» Поспевать за хирургом с сильными, жилистыми руками.

Выходило, что без нее — операционной сестры Марии Сараджан — в этот кровью обли-  
тый день Алексею Михайловичу Беспалову не сподобиться. А еще выходило — кровью  
то она темная, земляная. И — падает, падает, падает...

Ну а Псих, поглядывая на часы, нет, нет — и мандолинил:

Мария! Мария! Мария!  
Пусти, Мария!  
Я не могу на улицах!  
Не хочешь?  
Ждешь,  
как щеки провалятся ямкою,  
попробованный всеми,  
пресный,  
я приду  
и беззубо прошамкаю,  
что сегодня я  
«удивительно честный».

Мария,  
видишь —  
я уже начал сутулиться.

Но Мария не видела, не слышала, не пришла. Свет в операционной бил ей наот-  
машь в лицо — и нельзя было выключить. Жалость визжала, когда остановилось сердце  
десятилетнего мальчика. Миленького, как сахарный барашек. И потом внутри еще  
сжалось — умер сорокалетний водитель троллейбуса. Рябой, рябой. А глаза — холод-  
нее дыма.

Псих же, ничего этого не зная, все еще мандолинил:

Мария!  
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?  
Птица  
побирается песней,  
поет,  
голодна и звонка,  
а я человек, Мария,  
простой,  
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.

Мария, хочешь такого?  
Пусти, Мария!  
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.  
На шее ссадиной пальцы давки...

Пока Сашка тяготился неизвестностью, Мария не могла даже повить, извитьяся.  
Вечером проскребся новый зверь горя — скончалась ровесница Сараджан, двадцати-

шестилетняя рыженькая кондукторша. Она так до конца и не выпустила улыбку из искусанных губ.

И вот когда свет в операционной погас — все, все державшееся на тоненькой ниточке лопнуло. Сараджан только и достало сил упасть на продавленную тахту в ординаторской да набрать номер Психа.

Дребезг звоночный:

- Алло... Ты как?
- Уже знаешь, что случилось?
- Узнал час назад.

Недолгое — только, чтобы сердцу изоханному отдохнуть — молчание.

- Завтра буду у тебя в Марике.
- Придешь в четыре?
- Я надеюсь... А пока повесели меня, Саша... Расскажи что-нибудь хорошее — это так сегодня не хватало...

- А помнишь, как мы познакомились?
- Помню... Дед такой смешной попался... его снайпер подранил... А ты этого деда притащил и на меня наорал... «Перевязывай, сердцелюдка!»
- А дед неприятное впечатление от моего ора и сгладил...
- Ага, все сетовал, что, мол, снайпер его давным-давно заприметил... «Всегда за водой пушал... А тут на тебе — по ногам шамальнул, поганец...»
- Пересменка...
- Ну да, ты так и сказал... «Пересменка... и снайпер не предупредил побратима, что ходит туточки один — мхом обросший — по воду...»

Мария вложила улыбку в губы:

- Обожди, а почему ты назвал меня тогда сердцелюдкой?
  - А потому, что Дюля разведал: «красивая дончанка... волонтер, медсестра и поэт...» Я глянул — и правда... красивая, как подарок, перевязанный ленточкой... Вот и не смолчал...
  - А я, разлакомившись, прочла тебе...
- И она — слово в слово — от души к душе:

Плачет птица об одном крыле,  
Плачет погорелец на золе,  
Плачет мать над люлькою пустой,  
Плачет крепкий камень под пятой...

Псих — тронув соображающий лоб — разотозвался:

- Хорошая строфа... Только ведь не твоя...
- Раз хорошая — то и неважно, что не моя... А впрочем, я такую бы и не смогла написать...
- О, еще как смогла бы!
- Будет врать-то...
- Маяковским клянусь!..

И Сашка не по-актерски — поставленным на репетициях голосом — начал читать. Он читал, как тот, кому «тема день истемнила... имя этой теме — любовь». Ведь так и было — это не отрепетуешь — Сараджан чувствовала. Ее обстигало:

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,  
в боящейся дрожи ли,  
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:  
я с сердцем ни разу до мая не дожили,  
а в прожитой жизни  
лишь сотый апрель есть.

Мария!  
Поэт сонеты поет Тиане,  
а я —  
весь из мяса,  
человек весь —  
тело твое просто прошу,  
как просят христиане —  
«хлеб наш насущный  
даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!  
Имя твое я боюсь забыть,  
как поэт боится забыть  
какое-то  
в муках ночей рожденное слово,  
величием равное Богу.  
Тело твое  
я буду беречь и любить,  
как солдат, обрубленный войною,  
ненужный,  
ничей,  
бережет свою единственную ногу.

Мария —  
не хочешь?  
Не хочешь?

— Хочу, — вернула Сараджан, дослушав.  
— Тогда...  
— Тогда... до завтра, Саша, милый!  
Разъединилась.  
И только — дребезга звоночного — отзвук.

«Ночь придет, — всколыхнулось в Сашке, — перекусит и съест...»

И ночь пришла, и перекусила, и съела. А там — утро и день... И — новая ночь. Не было лишь Марии и быть не могло. Ведь в военкоровских «телегах» — «Донецк под обстрелами». И — жертвы. И — «карусель на дереве изучения добра и зла».

## 5

На лбу Венецианова белел шрам.

Разговор с Шишигой мучил-душил — словно затягивал старого учителя невидимой уздой. Может, всему виной был воспаленный фон неба за окном? А может, слова Венецианова сквозь горе? Сегодня — очередная годовщина смерти его донечки. Его кроткой голубицы. Но вместо того, чтобы помолиться за упокой Марусиной души и, вглядываясь в старую икону, увидеть, как «в углу... глазами в сердце въелась Богоматерь», он был вынужден вести этот мучивший его разговор.

— Гибель драмтеатра — своего рода напоминание...

— Напоминание? — ротный так и застыл взглядом. — Но позволь узнать о чем?

— Видишь ли, Алексей, — как бы позволял Венецианов, — когда-то там, где теперь развалины драмтеатра, была церковь Марии Магдалины... Вник? А теперь вникай дальше. На площади, где стояла церковь Рождества Богородицы, выросла средняя школа номер одиннадцать. Взамен взорванной Успенской церкви построили среднюю школу номер тридцать шесть. На месте слободской церкви появилась средняя школа номер тридцать семь... В сохранившемся флигеле синагоги на Советской улице расположена средняя школа рабочей молодежи номер один... И теперь — уже это разрушено или разрушается... Вот в эти самые мгновения... Сейчас... — старый учитель схватился за воротник, обжимавший его щербатое горло... — Да знаешь ли ты, что Успенская церковь поставила печальный рекорд? Она исчезала в Мариуполе трижды... Нет, ничего ты не знаешь...

— Дож, тоска в тебе — слишком вечная... Только я и сам от нее захлебываюсь...

— А если захлебываешься, то зачем же все передумываешь, всем перемучиваешься?.. И этим еще более перемучиваешь меня...

— Прости, Дож!.. Я действительно скис...

— Помогу тебе немножко...

Венецианов тронул жилки налитые — кровью — на руке:

Я одну политбеседу

Повторял:

— Не унывай.

— Спасибо, мой добрый учитель!..

— Я тебе уже давно не учитель... Я, Псих, Дюля, Ванька-встанька, все мы — бойцы штурмовой роты — доверили свои жизни тебе... И хотим, чтобы ты распорядился ими, как своей собственной... Ни одна нитка, ни одна живая ниточка — слышишь? — не должна оборваться все... Ну а потом... потом, по слову Божию, пусть мертвые хоронят своих мертвецов...

Показался только мгновения след, а замолчавший было Венецианов уже заговорил:

— Идет война... И все... «Все дьявольски — наоборот!..» Но ты всю жизнь ожидал этого... Вся твоя жизнь, Алексей, была сплошным ожиданием этого...

— Да, ты прав, Дож... Я — ветеран Апокалипсиса... А значит, не буду отвергать в себе вождя...

— Узнаю Шишигу!

— То есть вновь я... «Злее злого, острее острого...»

— Можно сказать «вновь», а можно и — «снова»... Ведь не я, а ты... именно ты всегда упрямо твердил...

Венецианов рванул пуговицу неудобного воротника:

Ненавижу  
всяческую мертвечину!  
Обожаю  
всяческую жизнь!

Шишига вознамерился клеить, но старый учитель не дал:

— Ты вот что... Береги всячески Сашку!.. Из-за этой любви — что никакой другой не новей — в его легкомысленной головенке черт знает что творится... Поговори с ним...

— Говорил.

— А ты еще слова найди... Сам же видишь — размедведился, лезет на рогатину... Убьют дурака...

— Я найду слова, Дожд.

— Хорошо. Ну а где он теперь?

— Во второй панельной девятке... Сараджан сегодня старуху оттуда забирает... Ну, эту нашу девяностолетнюю сироту... Словом, я разрешил Психу сопроводить Сараджан...

— Ну, понятно, зачем он одеколоном моим напыскался...

Венецианов погасил улыбку:

— А Сараджан, по случаю, не заберет Магнума? Мне бы тогда с ним попрощаться успеть...

— Какое там заберет... Лидия Адамовна Саморядова волонтерскую легковушку зафрахтовала всю целиком... до самого Донецка...

— Как ты сказал? Зафрахтовала?

— Ага... Сирота наша... она ведь пудов шесть, если не семь...

И вот уже — как в школьном прошлом — гомерический смех.

А то и — грохот.

...Минометный сабантуй.

Наши грохают по снайперу, выцеливающему всех без разбора во дворе панельной девятки.

Псих — пробравшийся таки в подъезд и тотчас же забывший об опасности — заглядывал в серо-синие глаза Марии, а в голове протискивал: «И небо, нагое без птицы... И море без рыбы и без корабля...»

И вот наконец выговорил:

— Каждый день без тебя — не чудо, не жизнь...

— Не надо, Саша... — Сараджан скрестила руки, как бы защищаясь, — слов этих сейчас совсем не надо...

— Как же быть? Может, так... «носить их только в своей груди и спрятать затем вместе с собой где-нибудь в терпеливой темной земле...»

Пальцы Марии вдруг сжались и побелели.

«Как лозы, — обдало Сашку, — как лозы, порченные холодом...»

— Я знаю, — разрежала рукой воздух Сараджан, — ты мыслишь так же, как и твой Маяковский... Только не перебивай меня! — девушка вскинулась, в глазах — серо-синий промельк. — Ведь это же от него, от Маяковского, исходит... «Любовь должна быть неизменна, как закон природы, не знающий исключений. Не может быть, чтобы я ждал солнца, а оно не взойдет. Не может быть, чтобы я наклонился к цветку, а он убежит. Не может быть, чтобы я обнял березу, а она скажет „не надо“...»

— Я тоже знаю... — Сашкин взгляд был длинным и захватывающим, точно кукан. — Я — дурачок дурной и... Псих... Там, на третьем этаже, в нетопленной квартире, лежит немощная старуха, которую ты должна поскорее вывезти из Марика, а я тебе про тебя... без тебя...

— Ну все... Тсс! — Мария дотронулась своими губами до его губ — обкусанных, обветренных, соленых, но таких теплых и живых.

Сашка сделал усилие над собой, чтобы отстранить девушку:

— А теперь уходи... Уходи, Маша... Слышишь, Маша? Иди, иди... Скорей уходи, Маша...

Она отпрянула от него и побежала вверх по лестнице.

Когда мгновение спустя Псих без доверков уже был уравновешен, он бросился за девушкой. И догнал, и обнял, и выдохнул:

Мы — из Вильяма Шекспира  
Два стиха...

Мария подалась к нему:

— Видишь крестик кипарисный? Возьми его... и носи — не снимай...

Она — словно высившаяся над высотой — вдруг сорвалась:

— И никогда, никогда больше не говори про себя упрятого... «в терпеливой темной земле»... Обещай мне!

— Я обещаю, — Сашка совлек крестик, поцеловал, но тотчас же и возвернул. — Надеюсь мне сама...

Он наклонился, она помогла со шнурком.

— Ну что, к сироте?

— К сироте, — закивала Мария, пряча повлажневшие глаза.

Псих тихонечко, чтобы не пугать старуху, постучал и подал голос:

— Лидия Адамовна, отоприте... Это я — Саша...

— Кхы-кхы, — перханье нестрашное за дверью, — не заперто...

Малое усилие.

И точно — не на замке — дверь скрипуче отворилась.

— Я не один, Лидия Адамовна... — предупредил Псих. — Со мною Маша... волонтер из Донецка...

— Заходи, юношество! Чего уж там...

— Благодарствуем!

— Это я благодарствую, Саша! Подждать-то мне больше некого... — Лидия Адамовна Саморядова — одышливая, грузная, с двумя подбородками — возлежала на старом топчане, облаченная в стеганую серую куртку и перепоясанная пуховым платком, еще один платок белел вокруг ее головы. — Не фашистов же мне подждать?..

Старуха закашляла, подбородками затрясла:

— А ведь они, окаянные, в Мариуполе второй раз, поди... Когда мне еще десяти не было, и вот теперь... Думала ли я, думал ли кто другой, что так все повернется?

Плечи старухи затряслись, размазывая по грязным щекам слезы, она разве что не подывала:

— У внука Сереженьки сороковины... у Бори, сына мово, — неделя... Ну а позавчера схоронила сношеньку, Наталку... Сосед, Клочьев, все и управил: погибшую доню свою и Наталку положил в общую могилку... Там, во дворе, подле качелей... Одна я теперь, сирота...

«На погосте хуже, чем в музее...» — придавило смурого Сашку.

Но вечно розовая Мария на заплаканную Лидию Адамовну глядела ласково и, приняв усыпанную старческой гречкой руку ее в обе свои руки, сказала:

— Бабушка, я вас к себе заберу... Ладненко?.. Прямо сейчас — пока нет сильных обстрелов — и поедем... Поедете со мной в Донецк?

— Поеду, лапушка моя... Только как же мне вниз-то сойти — ноги хоть и столбовые, но не держат вовсе...

Псих встрепенулся:

— Устрою...

И тут же — в рацию:

— Воробей, прием!

— На месте.

— Слушай сюда, Воробей... Подгони машину ближе к подъезду... И наблюдай за снайпером... Прикрывай! Мы — выходим...

— Принял... плюс...

Сашка помог Сараджан подхватить и поднять старуху с топчана. А еще — чуни подал да узелок сгрябчил. В голове Сашкиной зыбились: «Порастряс бы ангел наши кости!»

Пошли неспешно, неторопко.

И снова — скрип — дверь отворилась, выпуская людей.

— Все, Лидия Адамовна, прощайтесь с хатой... Хватит вам тут холодать...

— И то верно, Саша, и то... Ведь замерзлась, как цуцик...

— А я про что...

Псих покрепче перехватил старухин узелок и заголосил:

Мало знать  
чистописаний ремесла,  
расписать закат  
или цветенье редьки.  
Вот  
когда  
к ребру душа примерзла,  
ты  
ее попробуй отогреть-ка!

...Вдали загустевали чернильные воды Азова.

«А за морями, — выскреблось как-то вдруг у Сараджан, — тополя возносят в небо мертвость...»

Девушка ехала молча в ущелье из домов — Лидия Адамовна дремала на заднем сиденье. Словно в подушку ткнулась. Провалилась.

Быстро темнело. Псих — завидев такое — всенепременно сказал бы, ну что, мол, «город дорогу мраком запер».

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВОЛЧЬИ КРЮКИ

### 1

Вечерами бойцов штурмовой роты, по обыкновению, встречали стаи брошенных собак и кошек. Да, именно на такой манер это и произносилось. По первой, конечно, только Психом, но впоследствии — и остальными. Обступив, расчетверившись —



Впереди их, задрал хвостик,  
Поспешали зайцы.  
Вдруг китайцы закричали:  
«Стой, лови! Ах! Ах!»  
Зайцы выше хвост задрали  
И попрятались в кустах.  
Мораль сей басни так ясна:  
Кто хочет зайцев кушать,  
Тот ежедневно, встав от сна,  
Папашу должен слушать...

- Собирательное убожество... этот твой стихач...
- Кто обзывается — тот сам и называется...
- Тут-то Пеструха и замирила их:
- Мур-мур-мир!

...Когда Пеструха сгнула, Шишига более других полошился. Дюлины разведчики случайно наткнулись на мертвую письмоводительницу и предали земле как боевого товарища. Псих приказал рты замазать — Шишиге не сказывать, дабы не кручинился. Заботу же о Пеструхиных котятках приняла старая кошка Дымка.

Взгляд ротного сделался еще строже. «Лютей», — как решили про меж собою штурмовики. Этим взглядом он невольно пугал беженцев, которых опрашивал все последние дни... Разминовывался с людьми... А впрочем, до чечена Шишиге было все одно — далеко. Так и Псих полагал: «Это вон... „Злой чечен ползет на берег... Точит свой кинжал...“ А что с Шишиги возьмешь? Голубиная душа... и рот, рот судорогой вьется...»

Как бы там ни было, но именно горцы вынюхали больше всего бандеровцев, выбравшихся из города вместе с мирными по гуманитарным коридорам. Начинили проверку с плеч — искали синяки от прикладов... На коленях могли наследить наколенники... Искали и это... Да и шлем на голове красную полосу чертил. Выдавал. Если же кто изрядно стрелял, он, конечно, еще и порохом с оружейным маслом пахивал. У много бегущего на ногах следы от берцев также проступали. А вот на большом пальце руки набивался мозоль от снаряжения магазина патронами. Что еще? А еще все вояки сутулились: на груди же постоянно боекомплект висел. Тысяча патронов, а то и поболее! Ну и, конечно, всех — кто с демонами в родстве — горцы узнавали по татуировкам...

Горцы, горцы...

Души — тяжелого веса.

И — чутье на врага. Нутром, что ли, чувствуют? Или тайну какую — сокровенную, подъязычную — знают? Вонзятся колючими глазами в человека и ждут, когда он взгляд отведет. А бандеровцы в глаза не смотрят, они вообще не любят прямого взгляда. И по тому, как они его отводят, чеченцы врага распознают. Ну а мирные, те смотрели открыто и безрадостно. Опустошенно смотрели. Также, наверное, не имели сил порадоваться и узники нацистских концлагерей, когда их наши красноезвездцы освобождали... Многие — на грани безумия или нервного срыва. Молодые еще туда-сюда — оклемывались. А старики, болящие, оставив злосчастные подвалы свои, тут же и оступались в смерть. Соседи покоили их во дворах, покрывая могильными коростами Мариуполь.

«Воспаленной губой припади, — ковыряло Психа, — и пей из реки по имени факт...»

Вот только больше из этой горькой реки не Псих пил, а все-таки Шишига. Четвертый день он опрашивал беженцев, твердя себе одно и то же: «Меня переехало время!»

Ведь всюду — уже и не мерещилась, а была — драма.

Все Ивановы да Марьи — и таких не счесть — свидетельствовали.

Одна Марья вспоминала с мукой в лице:

— Вы знаете, ранение пулей — это не больно. Впечатление такое, как будто тебя кто-то внезапно позвал. Боль приходит потом...

Другая Марья вспоминала иное:

— Как же это... Э-э, «в упорстве души и костей... работать во имя детей...» И потому двадцать четвертого февраля мы с мужем решили из Сартан уехать — забрать троих наших детей и уехать. Куда угодно. Хоть в Западную Украину, хоть в Россию — лишь бы подальше от всего. Туда, где тихо. Где «плоть — былинкою довольная». Куда получится, в общем. Приехали в Мариуполь, а его — закрыли, запечатали. Так и остались в городе. Сначала на съемных квартирах мытарилась, потом к нам мои родители перебрались — Сартана попала под обстрел, пришлось эвакуироваться. Поселились в мариупольском общежитии всемером. На улице Строителей, неподалеку от третьей больницы, которую всю разнесло, попало. Мы, слава богу, пожарами не жили, но вот страхом объелись и обпились. Обстрелы — «в час смертей» — жуткие, людин трясущихся много — почти три сотни... И все бесхлебны...

Иван, как бы обняв все и вся взглядом, повествовал:

— Когда началась огнестрельная речь, магазинны в Мариуполе работали. Очереди немереные — горожане последнюю колбасу с полком сметали. А потом магазинны вскрылись — то ли взрывами, то ли из-за мародеров. Некоторое время все туда ходили, как к себе домой — ну или как на распродажи. К марту закончилось вообще все... Вот тогда и почувствовали голод — утробой... Мы с бабушкой с одной стороны от школы номер пятьдесят пять жили, а друзья моего детства — в доме с другой стороны. Друг к другу ходили, делились, кто чем разжился...

Еще один Иван, ежась, признавался:

— Поначалу только издали пахло бомбою... А потом — и вблизи... Тут уж, понятно, мы всем домом в подвал переехали. Недели на две. Есть было что — благодаря старикам нашим. Снесли все закатки, все консервы в одно место — даже просрочку — и ели. Потом уже, когда Мариуполь освободили и союзные войска вскрыли базы продуктовые, нам достались ящик яблок, мешок капусты, огурцы, квашенные помидоры. Витамины какие-то у ребенка были, железо. Уже ничего...

Другой Иван, немного застыдившись, тоже признавался:

— Мясо однажды на рынке нашли. Первая волна мародеров все унесла — кроме тех кусков, что на дне холодильников лежали: видимо, примерзли очень, отдирать не стали... Мы с друзьями второй волной накатили, отодрали... Я — не мародер, я — выживальщик. За всю войну ни одного замка не вскрыл. А если магазин или ларек открыты уже, людей нет — вот тогда лазил...

Опять же Иван вторил:

— С супругой мы жили на драмтеатре. Ну то есть возле драмтеатра... Квартира там у ее родителей. Когда взрыв случился, мы как раз в квартире сидели. «Эх кровь — твоя — кровца!» Перед тем как взорвалось, оттуда, из театра, почти все успели уехать. Несколько человек погибли, мы точно знаем. В нашем доме была фирма по остеклению окон, у владельца родственники в драмтеатре оставались: племянница жива, мама жива — а вот на брата стена упала... Э-э, так, к слову... мы потом с супругой и ее родителями крышей драмтеатра попользовались... На сугрев брали... Ведь больше нигде было дровами разжиться. Хорошо, с этим повезло. Ну как повезло. Ну, вы поняли...

Еще одна Марья, как бы в переключку:

— Право, «житие — не жысть!» Мы ведь во дворе еду себе варили — в больших таких кастрюлях, сорокалитровых. Варили, пока однажды во двор не прилетело. Знат-

но так прилетело: вместо двора — воронка... К счастью, за пару минут до этого мы с кастрюлями возвратились обратно в общежитие. Ни люди не пропали, ни еда... Потом готовили на ступеньках, не выходя из подвала. Жарник — из всего, что можно и нельзя. Ветки, щепки, двери поломанные — все стаскивали. Далеко от общежития старались не уходить. Благо бывший рынок рядом. Туда мужчины, кто посмелее, наведывались, ящики на топку собирали...

И снова один из Иванов сообщал:

— Во второй половине марта сделалось еще отвратнее. От дома — ни на шаг. «Смерть рассеянной рукою... Снимет голову — мою...» По завалам мыкался, трупы — вопя нутом — отодвигал, искал, чего поесть. В разбитых квартирах что-то было. Каши, например. Крупы. Вода... у кого-то в чайнике, у кого-то в кастрюле... А если ванна налита — вообще аллилуйя. Свяченой воды за иконками много, прости Господи... Чистой, хорошей воды...

Другая же Марья подтверждала:

— Воду мы поначалу брали дождевую... Потом недели две в подвале безвылазно сидели. Там уж что было — в трубах или так. А потом, когда выходить стали, около драмтеатра нашли пожарный резервуар... Набирали оттуда — кипятили, пили...

Иван такой-то, как бы до сих пор замерзая, говорил:

— А мы с друзьями греться и готовить ходили в лесополосу, около школьного стадиона. Потом перенесли свои огнища ближе к подъезду — ведь далеко было отходить уже боязно. А вскоре — и в сам подъезд перебрались... Окна повыбивало, тяга — попросту непристойная...

И добавлял:

— Да, мы попытались готовить на ступеньках подъезда, но не смогли: в подвал тянуло так, что слезы хотели из глаз... В общем, кашеварили во дворе, как все... Либо крышу драмтеатра жгли, либо дровяшки да щепки по окрестностям собирали... Но корявые дубы — сохранившиеся в нашем дворе каким-то чудом — и сами не трогали, и другим не позволяли. «Все кончится, а дубы пусть себе растут», — так мы тогда рассуждали.

Ну а еще одна Марья добавляла свое:

— Математику я до всего преподавала на украинском. Ну, два плюс два везде четыре. Терминология отличается, конечно: числитель и знаменатель — «чысэльныйк та знамэнныйк» и еще многое. Последние пару лет — обязательно только на мове в классе разговаривать. Вплоть до штрафов. У нас, правда, поселок на русском говорил всегда. Можно было задать вопрос на украинском, а дети — отвечали на русском. Все люди, все, все обходились без «братсвенной ненависти союзной» — не доносили и под штрафы не подводили... А ведь часто такое бывало у коллег на Украине, я знаю, но у нас — нет...

И снова делился один из Иванов:

— Девятого апреля к нам в дом заселилось отделение украинцев — пятеро азовцев и шестеро всушников. Надо сказать, всушники — все... «Что молодой — в часоventке — покойник...» Азовцы же — повзрослей, поистасканней. Один вообще дед седобородый. Так вот эти... «— Буйволами! — на скалу — скала...» Скалозубые, нагловзорые... Казали: «Для дурнів, хто думає, що може просто так здатися ворогові. Не зможете. Поміть краще як герої, а не як собаки...» Сверхбессмысленнейшие слова? О, нет! Не зря они клыками перещелкивали, соглядатайствовали... Глаза из бреда... Меня же чуть из-за дров не порешили... Азовцам показалось, что я наводчик... Ведь я вышел, и тут — в подъезд прилетело. Полчаса под дулом автомата стоял, отнекивался, шо «не, не, не, ребята, я — мирный, я — не голос и не взгляд...» Не тронули, однако. Потом со-

образил: они рассчитывали, что на штурм дома пойдет пехота — тогда мной и другими жильцами можно будет прикрыться, заслониться...

На исходе четвертого дня, когда голова Шишиги уже пылала, к нему вдруг за-  
явился Псих. На стол бухнул две бутылки водки и пакет со снедью, к стене примостил  
картину в подрамнике и сказал побасистее:

— Ну что, почти одноколыбельник мой, с днем рождения!

Ротный аж поморщился:

— Слушай, Сашка, а ведь я совсем забыл...

— Конечно, ты забыл, что когда-то увидел в этот день ангела... Но ничего, я тебе  
напомнил... А вот и подарок...

Псих указал на картину:

— Прости, без рамы... только в подрамнике...

— Дай-ка взглянуть... Да это же «Возвращение блудного сына»...

— Ну конечно, кисти самого Рембрандта... Ты рад?

— Да, Сашка, ты даже не представляешь, насколько... Вот уважил так уважил...

— Ничего, владей!

— Выпьем, — потянулся к бутылке Шишига. — Ты, это... возьми на окне стакан  
и вилки...

Сашка подставил граненый стакан и, по обыкновению, загремел:

— У меня есть что сказать... И я скажу... За тебя, друг Алеша, сын покойного Володи!  
Пусть не только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом!

И еще громыхнул:

— Ведь там... «Там, за горами горя, солнечный край непочатый...»

— Сашка, как по мне, так ты — поэт... В том смысле, что слишком все поэтизируешь...

— Ничего не поделаешь... Как говаривал Маяковский, «поэзия — пресволчнейшая  
штуковина, существует — и ни в зуб ногой...»

Псих закашлялся, постучал себя в грудь и кое-как выговорил:

— Боюсь, без поэзии — извиняй за вынужденный повтор! — мы совсем осволочимся...

И — как бы задержав дыхание и снова вздохнув — продолжал:

Я родился,  
рос,  
кормился соскою, —  
жил,  
работал,  
стал староват...  
Вот и жизнь пройдет,  
как прошли Азорские  
острова...

Шишига внемлил, не перебивая друга, а тот рвал:

— Потому я и не хочу становиться староватым...

— Да-да, ты очень прав... Прав, Сашка... Давай за тебя приглубим!

— Э-э, нет... я чту человека... сегодня ты — именинник... И вот тебе еще пода-  
рок... А впрочем, и мне, и всем, всем... от Дюли только что слухнул... Завод Ильича —  
наш... Российские черные береты потрафили... Да, из восьмьсот десятой отдельной  
гвардейской бригады морской пехоты...

— А детали? — не по кровям торопливо встрепенулся Шишига. — Детали  
какие слухнул?

— Кое-какие... — избоченился Псих. — Особо в штурмовке завода Ильича — это запомним крепко! — отличился командир третьей десантно-штурмовой роты капитан Петр Кравцов... Он — двинул с юга... Вскоре со своими гвардейцами Кравцов пошел к проспекту Ильича — прямо у стен завода — и после минометного сабантуя, ворвавшись на заводскую территорию, занял первый этаж здания, что недалеко от проходной.

Все бы ничего, только вот на третий этаж был вкраплен ротный командный пункт украинской армии. По сути, бой проходил внутри одного-двух лестничных пролетов. Украинцы сверху закидывали Кравцова гранатами и кричали: «Убирайся отсюда, москаль!» Гвардейцы Кравцова, понятно, ответствовали автоматным огнем. В конце концов у националистов закончились боеприпасы, и они сдались.

Время — сдачи.

И — время — на все.

Но время назад — даже облагодетельствованные артиллерией и авиацией — черные береты заходили на завод Ильича полторы нестареющие недели... Полторы... А когда все-таки зашли, то увидели поистине гигантское предприятие. Размер иного цеха мог достигать в ширину около ста пятидесяти метров, а в длину — более семиста. Это если не город в городе, то квартал точно.

Я так скажу:

Вот он, в просторы стай,  
Города самый край...

И это тот край, Алеша, — признаем же сие, — в котором советская инженерная мысль, разгулявшись, невольно споспешествовала противнику... Завод Ильича еще тогда, в прошлом столетии, спроектировали так, чтобы он выдержал ядерный удар. И он — этот отлично, хорошо подготовленный укрепрайон — выдержал бы...

Бой там так себе!

Большущий минус — «обстановочность этой пьесы»... То есть куча помещений, таящих засаду. А еще — подвалы и тоннели неудобохожие. Порой, чтобы изгнать из их прабогатырской тьмы противника, приходилось прибегать к дедовским средствам — коктейлям Молотова.

Да, жизнь — нажим.

И потому завод Ильича был отключен от водоснабжения... Как за неуплату... — попробовал было шутить Псих, но тотчас же оставил. — И тогда тридцать шестая бригада морской пехоты ВСУ стала прорываться в направлении «Азовстали». Однако — «огнестрельная воля бдит». И минуты не прошло — всушников накрыла артиллерия. Командир, дичая и волчая, отказался сопротивляться, а следом — и весь уцелевший личный состав.

Решение — в общем — понятное... Жив — дорожи!

Ну и, конечно, интересная подробность... С поднятыми руками из утробы завода Ильича вышло около тысячи двести человек, а полонили их всего сто четыре черных берета... Вероятно, захистники незалежности, сидя в подвалах, без связи и пропаганды — без фатальной фальши, — попросту не знали, что в тот момент у них было десятикратное превосходство в живой силе. И это — ох! — эх! — ах! — первая массовая сдача «волчьих крюков» в плен... Постигаешь, Алеша?

И еще информация к размышлению: у многих сдавшихся столбняк зрачков... Этакое — психотропное — «остолбеней!..» Этакое — «раскрепощенье бестий...» А в одном из бункеров завода — не иголка же! — пытливым взорам штурмующих открылся склад с радиоактивными веществами... И да, их завезли всушники...

Тут Псих подживел:

— Жизнь, держи их! Ведь они собирались использовать это против тебя... Удержала? Ну, выдыхай... Виктория полная! Твоя... Ты, жизнь, — теперь — победительница!

Вдруг Сашка потряс планшетом:

— И теперь... Знамя Победы должно быть поднято над заводом Ильича... Вот что я тебе хочу сказать, друг... Наливай!

— Я наливаю, — улыбнулся Шишига, — только ты давай закусывай...

— Ага, ага... Я хотя и не Маяковский... Но... «Сижу и ем кусок конский».

...Шишига вел покачивавшегося, пьяненького Психа в расположение, а тот смешно взмахивал руками и черт знает что выкрикивал:

Все вы,  
бабы,  
трясогузки и каналы...

Пытался — матерно, с солдатским перегаром — кому-то грозить:

— «Куда ты прешь со своей ананасиной, мать твою...»

И снова выкрикивал:

— Алешка, друг... «Можно убедиться, что земля поката — сядь на собственные ягодицы и катись!»

И — голосил:

Невыносим человеческий крик.  
Но зверий  
Душу веревкой сворачивал  
(Я вам переведу звериный рык,  
Если вы не знаете языка зверячьего)...

Падая же на кровать, Сашка бормотал:

Что делали? — Да принимали муки,  
Потом устали и легли на сон...

А потом, потом...

И сам Шишига «лег на сон».

Пеструха милая — «на том свету», водка горькая — на этом, а еще не менее горькое четырехдневное бытование — вырванное из рук, как вера в завтра — совсем доконила Шишигу. Словно черти поволокли его волоком.

## 2

Подвывала собака.

Время как будто не числилось на часах.

На земле, перед домом, темнел след, точно кого-то тащили волоком. Ливень ступывал его, этот след, на глазах у художника. Все — шумело и пузырилось — за окном. Все — мокло. И черная собака тоже. А старый художник неторопливо-сонно, будто убаюканный ливнем, извлекал из памяти... Японскую деревню. Всадников, схватившихся не на жизнь, а на смерть с пешими самураями. Рушащийся на землю дождь,

грязь-грязцу... И наконец, ключевую киносцену, в которой один из самураев вдруг падал, сраженный и уродливо подломивший под себя ногу. И дождь принимался смыть эту грязцу. И нога делалась белой. Белой — как кость.

«Человек мертв! — как в наводнение подтопило художника. — Это образ, который есть факт. Он чист от символики, и это образ...»

Дождевые капли уже давно просачивались в комнату сквозь ребра крыши. Глухо падали на яблоки, книгу и невымытые чашки, забытые на столе, а еще — на холст в подрамнике, белевшем в мольберте. Но художник этого словно не замечал. Он глядел в окно, за которым небо трескалось на кусочки. А в голове отливался монолог: «Сперва я был эгоистом. Хотел спасти свою семью. А спасать надо всех, весь мир...»

— Не христарадничать, моля... А спасать...

А ведь когда-то все было иначе. Идилличнее, что ли?

Все было...

Почетно — почетно — почетно — архи —

Почетно, — почетно — до черту!

«В дощатой таверне, где сквозь щели синее небо и дует по скатертям свежий ветер, матросы с „Краснодара“ в таких же выютуженных, как у иностранцев, брюках пьют чай и спорят о венецианской жизни. Они только что были в Венеции, стояли на Лидо-порт и видели собор Святого Марка и Большой канал...

Ветер треплет чистые скатерти. В порту хрустит антрацит, хохочут рыбачки и сверкает море, качаясь у берегов».

Старый художник часто приходил сюда — в гавань Мариуполя — ведь слыл страстным коллекционером. Он скупал все: картины, рисунки, кружева, шелк, парчу, бархат, оружие, ракушки, вазы, музыкальные инструменты — все, что ему казалось красивым и невероятным. Смотрел, вдыхал, запоминал и воплощал все это на своих полотнах. Он не знал заморья, не видел мастеров Италии. Он считал, что все это ему ни к чему, ведь у него есть его собственные впечатления и коллекция. А коллекция старого художника была действительно великолепной. Чего стоила одна только папка рисунков Бориса Григорьева, которую он купил то ли в порту, то ли на аукционе, то ли выменял за сто монет на собственный офорт у торговца картинами.

Острословил...

Маляры-то в поднебесьице —

Это мы-то — с жиру бесимся?

А потом — падал в дни.

Падал, пока — стравленный страстями — не лишился всего.

Коллекцию расхитил господин, рекомендовавшийся «Свидригайлов». И вот уже... «В мозгу ухаб пролежан...» Чахотка забрала жену. Пуля — любимого сына... Единственного, с кем он мог обняться душой... Маячившая слава увела последнего ученика. Безумие и отчаяние убило молодую невестку, всего-то семь месяцев и бывшую замужем.

И случился...

От вчерашних правд

В доме — смрад и хлад.

Несчастья — зверино — терзали его. Разматывали нервы. Болезнь не позволяла — жилы тряслись — держать кисть, и он привязывал ее к руке или брал мастихин. Глаза

отказывались видеть, и он вооружался лупой. Продолжал творить, как будто живопись — эликсир жизни. Как будто ничто иное — ее, эту самую жизнь — и не способно продлить.

Так было и с последней его работой.

Он закрылся в «мастерской человечьих воскрешений». Он творил, не ограничивая свой предел. Краски — сплав красных, коричневых и золотистых оттенков — темнели густыми мазками. Необычна была и светотень на картине. Главные герои освещались слабым светом. Самое яркое пятно — лоб отца. Вокруг полумрак. Он переходил почти в кромешную темноту на заднем плане. Такие переходы от света к тени добавляли эмоциональности.

А между тем — по-прежнему — кудесило время.

Время!  
Хоть ты, хромой богомаз,  
лик намалюй мой  
в божницу уродца века!  
Я одинок, как последний глаз  
у идущего к слепым человека!

И слепо поворачивалась стрела часов.

Творцу — за стрелой не следившему, но верному вере — были неважны второстепенные персонажи. Все внимание забирали отец и блудный сын. Старый, согбенный отец поражал своим отнюдь не мумийным лицом. В лице — и горечь, и счастье долгожданной встречи. Сын же был виден со спины — коленопреклоненный и несколько по-младенчески уткнувшийся в царственное одеяние отца. Неизвестно, что выражало сыновье лицо. Но растрескавшиеся пятки, голый череп и бедное одеяние говорили достаточно. Как и руки отца, лежащие на плечах у сына. Через спокойствие этих рук, прощающих и поддерживающих, старый художник уже в последний раз повествовал миру вселенскую притчу о страстях и пороках, о раскаянии и прощении: «...встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его...»

И словно выскреблось...

Слышишь? Это последний срыв  
Глотки сорванной: про-о-стите...

Слыша и даже этому вторя, старый художник вспоминал погибшего сына. Только работа и спасала от безумия. Гнала мысли о самоубийстве. И глубина отцовской любви передавалась через кисть и краски. «Надо умереть несколько раз, дабы так рисовать...» — услышал однажды творец.

А еще услышал...

Есть взамен пожизненной  
Смерти — жизнь посмертная!

И снова...

Вдруг — отлилось — «спасать надо всех, весь мир...»

Ну а на земле — уже мертвенно-белело — тело самурая, и дождь смывал грязцу с его ноги.

...День встал.

Встал и Шишига.

Вытащил из головы: «Все мои тайны сон перетряс...»

Принялся — пока за окном синим-сине — обмысливать, что же такого отоснилось. И откуда обмысливал, в сознание врезался лик. Да, именно лик. Одинаковый — и у блудного сына, и у погибшего самурая. Это был — как вопль — знакомый лик... Психа... Сашки Терпсихорова... Его — Шишигиного — друга и названного брата.

— Человек мертв! — пересиливая мнимости, заключил ротный. — Разве не из моего это сна?

Он покосился на картину в подрамнике, прислоненную к шерботой стене, и проговорил:

— Ничего, что из моего... Никто меня не осудит, никто меня не облает...

«Разве что черная собака?..»

### 3

Выл ветер и не знал о ком.

А вот Дюля знал и шел докладывать ротному.

«Но как? Как я не углядел за Психом...»

Ветер усиливался — казалось, стоит сделать еще несколько шагов, как сразу исчезнешь навек. Начальник разведки заставил себя справиться с набегающей слабостью, заливавшей его:

— Разрешите, командир?

Спросил — и как бы увидел черное, близкое, бегущее небо.

— Заходи, Дюля! Говори...

— Что говорить? — замер старый воин, словно ему было теперь темно от страшной тучи.

— Как все случилось?

— Ты уже знаешь, командир? Ты его видел?

— Не знаю и не видел... «Вместо черт — белый провал», — ответил сновидческим голосом Шишига, — я предчувствую... беду... — лицо Шишиги в это мгновение было как могила — как пласт.

— Так и есть — беда... — передал Дюля весь ужас слова. — Нет больше Психа — не дожил до поздних лет...

— Говори... Ничего не опускай!

— Гм, значит так... Псих разбудил меня в три. И, дыша перегаром, сказал: «Три века до весны...» А еще сказал: «Пойду с твоими утром в поиск... Если что случится... отдашь ротному планшет — там письмо и флаг...» Потом сунул книжку: «Это для Ваньки-встаньки...»

— Покажи! — встрепенулся Шишига.

— Да вот... «Остров сокровищ»...

— Письмо где? Дай письмо!

— Здесь оно, туточки...

Ротный рванул у Дюли планшет, но с застежкой не совладал.

— погоди, командир!

Дюля взял планшет из трясущихся рук Шишиги, расстегнул его и вынул письмо:

— На, читай! Я пока закурю... А то — схватило горло, хоть вой...

Ротный не глядел на трущего мокрые глаза Дюлю, а пытался проникнуть в смысл написанного:

Всем.

В том, что иду в поиск, Алешка, не вини никого и, пожалуйста, не гневишь. Я хоть и Псих, но этого ужасно не люблю.

Мама и товарищи, простите — война — это не способ развлечь себя (другим не советую), но у меня выходов нет.

Мария — люби меня.

Товарищ правительство ДНР, моя семья — это Мария Сараджан и мама. Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо. Знамя Победы поднимите над заводом Ильича. Это — на случай, если меня убьют... Ну а тогда...

Положите меж трав и хвой —

Голова устала от войн...

Счастливо оставаться.

Александр Терпсихоров

12/IV — 2022 г.

Товарищ Дож, не считай меня сорвиголовой.

Серьезно — ничего не поделаешь.

Привет.

Ваньке-встаньке скажите, чтобы читал книжку Магнуму.

А. Т.

В рюкзаке у меня 20 000 руб. — внесите на покупку «птички».

Остальное получите с роты.

А. Т.

Дюля видел, что Шишига читал все одну и ту же строчку. Он видел, как письмо вздрогнуло: заскрипела лестница... Нет, на НП никто не поднялся. Опять стало тихо, ротный положил письмо на стол, приговорил минуту или две, потом взял с подоконника полотенце и зачем-то завесил им картину в подрамнике.

И — желая в каждое ухо вывить — бросил:

— Напрасно ты, Дюля, взглядом — как гвоздем — пронизываешь... Повествуй дальше!

— Ага, щас... — не выдержав тяжести угрюмо насланных глаз Шишиги, начальник разведки отвел взгляд. — Псих ведь, по обыкновению своему, шутил: «Сударь, у вас хорошая голова, башка, как у нас говорят, крепкая башка, лошадиная — головы всех великих людей чем-то схожи с лошадиными...»

И снова — глазная атака Шишиги.

— Ты же сам сказал, — сильно засомневался старик, почувствовав себя вдруг поставщиком суеты, — «ничего не опускай!..»

— Ну, вот и не опускай!

— Ну, добре... Э-э, раз Псих в поиск, то и я — в поиск... Думал, пойду присмотрю за ним... Ну, в общем... Восход заметил нас... Был он навстречу закату... И неважно, что до него — ой, еще сколько! А мы шли себе по двору, давно оставленному войной. Обезлюдил двор — нет ни мариупольских насельников, ни наших тыловых частей. Только в отдалении где-то взрывы и стрелковый бой. Ветер с моря — разверзая рот — поврежденную кровлю ворошил. И тут из окон пятиэтажки нас угостили. Ох-

нуть — не издохнуть! Один... Больно ранен — и головы не нашли... Другой шевелится — значит, живой хотя бы... Что с остальными — непонятно. Гакало все: пулемет, автоматы, гранатометы.

Может, на разведгруппу противника нарвались? А может, «волчьи крюки» к своим отходили на «Азовсталь»?

Дрожью объяло двор. Мы рассредоточились, как могли, кто за машинами сгоревшими, кто у перевернутых баков. Голову не высунешь, ничего не видно, пытаемся заградительный огонь вести, но толку от этого мало...

Старик — порядком измучившись — кое-как глотнул ком:

— Тактика? Ну, не мне Америку переоткрывать — ты и сам знаешь, если хохлы в дом зашли, то стены между квартирами таранят. И потом кочуют — туда-сюда — по всему этажу... Иногда между этажами стремянки торочат, чтобы уже во всем доме хозяйить. И не спрашивать: «Есть ли кому аминь отдать?» А бывает — загодя приготавливают позиции в квартирах: оставляют мешки с песком, гранатометы, магазины снаряженные. И позиции эти — ну, сроду — не обнаружить!

На этот раз, впрочем, не так все было. В доме этом они не к обороне готовились, а хоронились. А мы, получается, спугнули... Оттого и расканареелись они — будь здоров... Побелка — как пыль — долго потом оседала...

«Тесна жизнь в доме, — придавило вдруг Шишигу, — место нечистоты есть дом...»

Дюля же говорил и говорил:

— В общем... Ты им: рраз! они — сто! Ждать, пока у них патроны кончатся? Так себе вариант. Инвентарь природы скудный — укрыться негде. Того и гляди, всех расчешут в пух и прах. Вот Псих танкистам из пятой роты и шумнул по рации.

Восседает у перевернутых баков — громкий, бешеный — ну, самый что ни на есть горлопан:

— Я знаю силу слов, я знаю слов набат... Как там дальше, я уж не упомяну...

— Я упомяну...

И тут Шишига — из своего застенка — выкричал:

Я знаю силу слов, я знаю слов набат.  
Они не те, которым рукоплещут ложи.  
От слов таких срываются гроба  
шагать четверкою своих дубовых ножек...

От крика — высвободившегося — у Дюли затряслось нервное желе:

— Точь-в-точь... что и Псих наш голосил... Голосил, покуда Рыба на «Кошмарике» не прикатил... Так, благодаря Рыбе мы и подобрались к дому. Размыкали, значит, замок. А когда «Кошмарик» поуправился — зашли. Осмотрели весь дом, а там шесть трупов. Шесть, понимаешь?.. Это я к чему веду? Если бы у этих шестерых было достаточно боекомплекта, они могли бы хоть целый батальон удерживать, пока их чем-то тяжелым не отработают, либо они не свалятся от усталости...

— Плевать мне, Дюля, на этих пикуло-человекуло! «На пепельницы черепа!» Дальше...

Начальник разведки закивал понимающе:

— А дальше так... Едва мы из дома выбрались — танк с «Азовстали» ударил... С закрытой позиции... Сначала — в «молоко». Но потом — точно снаряд положил. От него ни оттолкнуться, ни отбиться. Вот Псих и заслонил собою Бойкота... Посеченного осколками Психа мы сразу подхватили и — в медпункт... Но видишь ли — какое препохабье! — не донесли...

- У тебя водка есть? — выдохнул Шишига.
- Найду!
- Найди, старик!

...Ночь упала сразу, без предупреждения.  
Дождь бусенил по зеленоватому стеклу.

Шишига не сводил взгляда с толстого ломтя ржаного хлеба, темневшего на стакане с водкой. Русская горькая за Шишигу так и не заступилась — облегчения не дала. Уже когда засыпал, выяснилось: «А за окном плакала бесконечными слезами непогожая ночь, одинокая, покинутая...» И глядя в себя закрытыми глазами, еще подумал: «А может, это старуха мать?»

#### 4

Психа похоронили в небольшом сквере завода Ильича — под чудом уцелевшей елью. Вышло, как он и просил:

Положите меж трав и хвой —  
Голова устала от войн...

Но самого Шишигу военщина не отпускала, хотя уже и был приказ выводить из Мариуполя штурмовую роту. Да, штурм «Азовстали» отменялся. Было решено «волчьих крюки» взять измором в их же гнездилище. Но не мог Шишига, не рассчитавшись за Психа, уехать. Три дня себе дал. И все эти високосные дни выслеживал с танкистами всушную «шестьдесят четверку». Ту самую, отработавшую по Психу с закрытой позиции.

Всушник хитрил, прятался на «Азовстали».

Работал с корректировщиком союзно. Выскакивал, прицеливался, стрелял и — в боксы.

Но Шишига с танкистами — на живую наживку — его поймал.

Рыба на «Кошмарике» обозначился. Встал — и давай класть снаряд за снарядом. Беспечность проявил, так сказать. Ну, корректировщик, само собой, дал наводку. А Медведь с Шишигой, понятное дело, наблюдают. У «шестьдесят четверки» есть особенность: при запуске двигателя сильно обдаёт соляровым выхлопом. Смотрят — пыхнуло над одним из боксов. Значит, там. Теперь куда двинет — вперед или назад? Если вперед — то сначала ствол покажется, демаскирует, а вот если назад и на разворот — то почти сразу к противнику, то есть к нам, кормой. А там бронирование как раз слабое.

Падали — чеканами — секунды. И вот из-за стены эта самая корма показалась — точно Медведь с Шишигой его просчитали! Ну и — на, получай! — кумулятивный. И пока сей гроб повапленный не скрылся — туда же и второй снаряд. Полыхнуло. Башня — отлетела. Прощай, оружие!

— Амба! — подтвердил потом, уже вечером, и командир пятой танковой роты Лось. Он тряс тыквенно-лысой головой так, что не поверить ему было невозможно.

Ну а Псих, Псих о себе еще напомнил. Словно был жив, а стало быть, непременно исполнял обещанное: дарил ящик конфет.

К ночи рыжего Магнума из-за конфет этих всего и обсыпало.

Дюля стал пытаться, где, мол, взял, малец... И по знакам, подаваемым Магнумом, начальник разведки выяснил: конфетами наделил Псих. Обещал и наделил. Под рас-

кладушкой обнаружился и ящик. Ну а с мальчика что возьмешь? Разворачивал обертки да лопал.

— Эх ты, шоколадник! — сокрушался старик. — И как только не треснул...

Не укрылось от пытливого Дюли ничего — Ваньку-встаньку тоже обсыпало с ног до головы.

И Дюля — более не сдерживаясь — взбуктенил:

— Будешь знать, как плотоугодничать!

Штурмовики гикали, глядя на ажитацию старого воина. И только воин молодой глядеть совсем не желал:

— Не почуйте меня, дяденька! Ой!

— Какой я тебе дяденька? Обращайся по форме!

— А вот вы по форме со мною?

Пришлось Шишиге вмешать голос:

— Отставить, Дюля! Уняньчишь!.. Э-э, Ванька-встанька, а ну бегом марш к доктору!

— Чума тебя, непочетника, заberi! — сплюнул сквозь зубы старик. — И на кой ляд мне такой разведчик?

— Больно нужна ваша разведка, — возвратил Ванька-встанька, — я моряком буду...

— Тьфу!.. Не укусывала его своя вошь... Запомни, бессольный... Разведка... не сапог — с ноги не скинешь...

Военврач Чентуков, пользуя Магнума с Ванькой-встанькой, зверски подмигнул обоим и дребезжащим, как у старого пирата, голосом проговорил:

— Клянусь мессой, я думал, что вас уже нет в живых...

И тут же — запел:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Ванька-встанька вострепнулся:

— Здорово! Вы прям... как капитан...

— Йо-хо-хо... так и есть... Я — капитан... Капитан медицинской службы... И потому со всей ответственностью заявляю: вот вам порошки, глотайте их три раза в день... — Чентуков протянул Ваньке-встаньке белые пакетики. — И никаких конфет, ясно?

— Ясно! — скисли оба.

— Ну, приободритесь-ка, бледнолицые сэры! И — шагом марш!

Ротный остался доволен и Чентуковым, и Магнумом, и даже «непочетником» Ванькой-встанькой. Взглянул на молодого разведчика — как бы добывая, что у того на сердце — и сказал:

— На Дюлю зла не держи... Любит он тебя, понял?

— Угум...

— Завтра уезжаем... — Шишига размял пальцами сигарету. — Ты потребуешься мне утром...

— А чего надо, командир?

Чиркнула зажигалка.

— Не спеши, морячок! Сначала солят — потом едят... Все — забирай Магнума и спать...

Было уже поздно, и тени труб вытянулись и легли на завод Ильича.

...Утро — как белое тело.

Стены заводоуправления распустились в тумане.

Алексей Шишига — один перед ротой:

— Солдаты! Донбасс никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий! Спасибо вам! Спасибо! Да, Мариуполь наш. Победа далась тяжело и потому более ценится. Но это — еще не конец войне.

А пока знамя великой армии-освободительницы, реявшее в сорок пятом над Берлином, мы поднимем здесь. Над заводом Ильича. Как того хотел наш боевой товарищ... Александр Терпсихоров... Наш Псих...Слышите?

И еще скажу... Повторю неизбывное... «И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков...»

Досказал. И — мелькнуло: «Конечно, лишь мертвые питают живых во всех смыслах...»

Нацелив бинокль на «Азовсталь», ротный подозвал Воробья:

— Туман подбело. Займи позицию... и прикрывай от снайперов...

Воробей — этот молчун с гривой рано поседевших волос — перехватил поудобней эсвэдэшку и побежал к заводууправлению, высившемуся над окрестностями.

— Не беги, а то руки будут дрожать, — догнали его Шишигины слова, а потом ротный поворотился к штурмовикам: — Ванька-встанька, ну где же ты?..

— Я здесь, командир, — высунулся из-за Дюли на вершок вьюнош с длинной гусиной шеей.

— Ко мне!

— Есть!

— Как плечо? Зажило?

— Живая кость мясом обрастает... Завсегда...

Пока строй грохотал, улыбка набивала Шишиге оскомину:

— О таких, как ты, Ванька-встанька, говорят... «то ли пчела под шапкой, то ли масло под мышкой...» Ладно, теперь вникай! — посерьезнел Шишига. — Влезешь вон на ту трубу икрепишь флаг... Сослужишь службу?

— Сослужу.

— Больно свято звонишь: чуть не на небе слышно...

— Да нет, точно сослужу, командир...

«Тут тебе и аминь!» — заключил мысленно Дюля, не сводя со своего вскормленника умных собачьих глаз.

Ротный снайпер был на позиции, и Шишига благословил Ваньку-встаньку на подъем. И тот с ловкостью марсового матроса устремился вверх, держась за стальные скобы с южной стороны трубы, как присоветовал ему напоследок ротный. Уже вскоре забубенный Ванька-встанька володел трубой и крепил Знамя Победы. А после — не сказав «ни тпру ни ну» — заспешил вниз. Примерно на середине пути он — отлично, хорошо выделяясь на фоне красного замшелого кирпича — вдруг остановился и, голосный, запел:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Дюля никак не опорочил, лишь кулаком погрозил, но Ванька-встанька уже внизу бывалился:

— Командир, приказание...

— Ох ты гой еси, русский твердый дух! — перехватил Шишига, отдавая должное молодому разведчику. — Помужествовал... Стань в строй!

Ванька-встанька поворотился и пошел, поднимая и вытягивая ноги, наконец расплевался с уставом и зашагал, как обычно — вразвалочку. А ротный, оглядев солдат, резко, револьверно скомандовал:

— Изготовиться к стрельбе! Одиночными... Огонь!

И штурмовики огласили выстрелами территорию заводоуправления.

...Кумач вознесся над заводом Ильича — развернулся, грозил вдаль. Как бы говоря:

Просты наши законы —  
Написаны в крови.

## 5

Штурмовики — несмотря на зацапавшее их всех ожидание отъезда — деловито, без спешки, грузили ротное имущество в тентованные ЗИЛы. Ванька-встанька после того, как нечаянно уронил ящик с патронами Дюле на ногу, только смущенно жмурился. Дюля — старчески кряхтел. И даже у его любимицы — белой с рыжими пятнами кошки — рот был раскрыт. Должно быть, мяукала. Одна разъедная «маршрутка» — допотопная бээмпэшка — превращенная в дуршлаг крупнокалиберным пулеметом еще в марте, была, наконец, починена. И теперь военврач Чентуков размещал в ней раненых. Туда же — в «маршрутку» — командир присоседил и картину в подрамнике.

— Присмотри за ней, Чентуков!

Только сказал это Шишига, как услышал позади нехороший звук. Лиловая, как туча, легковушка сумасшедше быстро неслась по дороге, ведущей к заводоуправлению. Водитель сигналил гудком и фарами. Пассажир — высунувшийся из окна — махал рукой и кричал. Когда легковушка остановилась, ротный узнал в крикуне Бадму Цырендоржиева. Как и прежде, до госпиталя, это был плотный человек, туго обтянутый гладкой, без единой морщинки кожей. Рядом с ним сидела — тонкая, упруго-гибкая — Мария Сараджан, которая, собственно, и сигналила. Словно кричала отчаянным, последним голосом.

Бадма звякнул дверцей, полился из машины:

— Вижу, здоров, командир... и прикрыт мариупольским загаром...

Ротный втиснул свою руку в одубевшую, как старая перчатка, руку снайпера:

— Ну а ты, Бадма, подлечился?

— Во грехах, да на ногах. Вот ехал, спешил... Марию торопил...

Шишиге было зимне, пусто.

Он не мог смотреть на Сараджан, и он еще ни разу на нее не посмотрел. Мария сама подошла к нему и заглянула в глаза:

— Здравствуй, Алеша!

Что-то странно знакомое и недавнее было в этих ее словах, Шишига вдруг понял — интонация. Именно с такой интонацией обыкновенно его встречал Псих. Алексей обнял Сараджан — и сердце его передвинулось в сторону. Говорили, впивая мысли друг друга. У Марии в голосе слезы.

Ротный оглянулся.

Увидел — из-под узких век снайпера — лезвия глаз.

— Что у тебя, Бадма?

— Там...

Бурят ближе придвинулся к Шишиге:

— Там, в Донецке... в госпитале... Э-э, я одного мужика встретил... из Мариуполя... Ну, в общем, не исключено, что он — отец Магнума...

— Маш, а ты забереешь пацана? — вскинулся ротный.  
— За тем и ехала. Меня ведь Бадма специально для этого и разыскала.  
— Еще полчаса и мы отсюда бы... — начал, но не договорил Шишига.  
— Я понимаю, тебя... И хорошо, что эти полчаса были...  
— Право, Маша, я не знаю, что теперь хорошо... «Мы победили всех животных, но все животные вошли в нас, и в душе у нас живут гады...»

— Да, я понимаю тебя. Только вот Саша не стал бы зарывать эту мысль стремительно...

Шишига не дал ей договорить:

— Он — я это наверное знаю, — как заведенный, повторял бы: «Главная проблема существования лежит в том, чтобы жить с пониманием смысла жизни...»

— Вот поэтому, Алеша, в душе у вас и не могу жить гады... Вы — миротворцы...

— По слову Евангелия, что ли?

— Именно, именно, — раздвинулся занавес на губах Марии. — Как же это там говорится? Ах, да... «блаженны миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся». Ведь это именно вы, любящие мир, и дали его Мариуполю — «городу матери Марии».

— А как же те, кого мы убили?

— А те, кого вы убили, — на губах у девушки была печаль, — погибли задолго до гроба...

Шишига молчал — все вдруг сделалось понятным и болезненно ясным.

Бадма Цырендоржиев вошел в паузу — как в открытую дверь:

— Ну что... зови Магнума...

Ротный снова почувствовал себя делателем: отыскал взглядом Ваньку-встаньку и так же взглядом — мол, слышал же — послал его за мальчиком.

Сараджан коснулась Шишиги рукой и попросила:

— Покажи, где Саша похоронен...

— Иди за мной, тут недалеко...

Он пошел было вперед, но приостановился, дождался ее и, взяв под руку, повел к Сашкиной могиле.

— Вот здесь, — указал Шишига на тихое место, под елью.

Мария Сараджан взяла горсть земли с могилы и сказала:

— Саша, я переезжаю в Мариуполь... — опять на губах у девушки была печаль. — Теперь твоя мама — моя семья...

Венецианов — тонкий, непрочный, — заметив молодых людей, направился к ним. Шрам на лбу его побелел. Губы без улыбки, отяжелели.

Подошел — деликатно кашлянул:

— Привет, Маш!

— Ой, как я рада видеть вас, Игорь Анатольевич!

— Я тоже рад тебя видеть, Маш!

— А можно я вам — всем вам — почитаю?

— Почитай, — ободрил ее Венецианов.

— Тогда это будет стихотворение, которое нравилось Саше...

С широко раскрытыми глазами и неровно бьющимся сердцем она поправила сбившуюся прядь:

Я жизнь люблю и умереть боюсь.  
Взглянули бы, как я под током бьюсь  
И гнусь, как язь в руках у рыболова,  
Когда я перевоплощаюсь в слово.

Но я не рыба и не рыболов.  
Я из обитателей углов,  
Похожий на Раскольников с виду.  
Как скрипку, я держу свою обиду.

Терзай меня — не изменюсь в лице.  
Жизнь хороша, особенно в конце,  
Хоть под дождем и без гроша в кармане,  
Хоть в Судный день — с иголкой в гортани.

А! Этот сон! Малютка жизнь, дыши,  
Возьми мои последние гроши,  
Не отпускай меня вниз головой  
В пространство мировое, шаровое!

— Спасибо, Маш! — прямо в лицо миру и девушке улыбнулся Дож.  
Мария блаженно улыбнулась в ответ.  
— Пора! — заторопил их Шишига.

...Их ждали.

Бадма уже отнес в легковушку пожитки Магнума, а Дюля — воды и провианта. Вань-ка-встанька, дичась Марии, протянул ей книгу и буркнул:

— Дочитаешь ему, ладно? Мы остановились на том, как Джим сбондил у пиратов «Испаньолу»...

Сараджан просияла в молодого разведчика глазами:

— Обязательно дочитаю. Береги себя!

И подумав — обращаясь уже ко всем — присовокупила:

— Берегите себя, мальчики!

Дож поправил вязаную шапочку рыжему и, обнимая, проговорил:

— Магнум, прощай!